

ИЛЛЯ
ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ
ПЕТРОВ

Светлая личность



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Илья Ильф
Светлая личность

«Издательство АСТ»

1928, 1929

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)бя44

Ильф И. А.

Светлая личность / И. А. Ильф — «Издательство АСТ», 1928,
1929 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-136545-5

В маленьком городке Пищеслав, где никогда ничего не происходит, случилось нечто невероятное – скромный служащий Егор Карлович Филюрин стал человеком-невидимкой. Пошли невероятные слухи, снежным комом покатались сплетни – отныне перепуганные пищеславские обыватели ожидают от невидимки лишь самого ужасного... Помимо повести «Светлая личность», в этот сборник вошли новеллы, рассказы и фельетоны, написанные величайшими отечественными сатириками и юмористами первой половины XX века – «литературными отцами» бессмертного Остапа Бендера. Эти произведения ничуть не менее смешны, чем диалогия «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». А особую прелесть им придают забавные, искусно выписанные персонажи. Надутые партработники и унылые бюрократы, ловкие предприниматели и вороватые служащие, легкомысленные модницы, фанатичные комсомольцы и эксцентричные представители богемы – участники той пестрой, почти фантастической жизни, которая царила в нашей стране в уникальную для ее истории эпоху нэпа.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)бя44

ISBN 978-5-17-136545-5

© Ильф И. А., 1928, 1929

© Издательство АСТ, 1928, 1929

Содержание

Светлая личность	8
Глава I	8
Глава II	14
Глава III	19
Глава IV	24
Глава V	29
Глава VI	34
Глава VII	39
Глава VIII	44
Глава IX	49
Глава X	54
Эпилог	58
Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска	59
Синий дьявол	59
Гость из Южной Америки	62
Васисуалий Лоханкин	65
Город и его окрестности	67
Страшный сон	69
Пролетарий чистых кровей	72
Золотой фарш	75
Красный Калошник-Галошник	79
Собачий поезд	81
Вторая молодость	83
Мореплаватель и плотник	86
1001 день, или Новая Шахерезада	88
Товарищ Шайтанова	88
Первый служебный день	90
Выдвиженец на час	91
Второй служебный день,	92
Третий служебный день,	93
Четвертый служебный день,	94
Двойная жизнь Портищева	95
Пятый служебный день,	96
Шестой служебный день,	98
Рассказ о товарище Алладинове и его волшебном билете	99
Седьмой служебный день,	100
Восьмой служебный день,	101
Рассказ о «Гелиотропе»	102
Девятый служебный день,	104
Человек с бараньими глазами	106
Десятый служебный день,	107
Рассказ о «Золотом Лете»	108
Одиннадцатый служебный день,	110
Преступление Якова	112
Двенадцатый служебный день,	113
Хранитель традиций	115

Тринадцатый служебный день,	117
Процедуры Трикартова	118
Четырнадцатый служебный день,	119
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Илья Ильф, Евгений Петров

Светлая личность

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Светлая личность

Глава I «Веснулин» Бабского

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия – Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Бульжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящик с двумя надписями. Первая, прозаическая, была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

Остановитесь, потребители!
Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Прodelывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шацу конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев – герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

– Скорее! – крикнул Бабский.

– Что скорее? – спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

– Просил же я вас подержать мой бицикл! Я – прошу убедиться – еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

– Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться – одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! – восхищенно сказал Филюрин.

– Какие выводы?

– Выпить.

– Это всегда можно. Дайте только патент получить.

– Изобретатель должен угощать, – сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной порохи и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобрел вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанный из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышел. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

– Скажите, Бабский, – спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом, – изобретать – это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

– Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатила по площади.

– Что это дает в месяц? – крикнул Филюрин вдогонку.

– Рублей шестьдесят-а-а-ат! – донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил, – подумал Филюрин. – Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, насколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы – любовь и ревность. Но и с барыш-

нями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфтовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страной служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды – очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успевают сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина – мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолетовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, брэнчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект им. Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пешие. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

– А! Это вы, товарищ Лялин! – примирительно сказал Бабский. – Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

– Опять изобрели что-нибудь? – проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

– Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

– Так вы мне завтра в подотдел занесите, – нетерпеливо сказал Лялин, – там и подработаем вопрос.

– Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться? – суетился Бабский. – Позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погребушечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло, – с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения, – наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милиционеру надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжкой остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов недолго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банными удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

– Стой! – закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

Глава II «Воленс-неволенс»

До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее – в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

– Товарищ Бабский! – услышал изобретатель. – Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.

– Хулиганы! – крикнул изобретатель, захлопывая окно. – Удивительное хулиганство!

– Товарищ Бабский, – услышал он за собой, – дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.

– Кто был в бане? – тихо спросил он.

– Я, – ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:

– Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

– Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

– Кого не видно? – раздраженно спросил Бабский.

– Меня, Филюрина.

– Позвольте, почему же вас не видно?

– Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

– Так вы говорите, намылились? – спросил изобретатель, дергая себя за бороду. – С научной стороны это весьма интересно!

– Вы же поймите, – убеждал Филюрин, – из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

– А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

– Веснушки исчезли, – искательно сказал невидимый, – но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

– Черт его знает, – задумчиво произнес изобретатель, – я избрел только мыло от веснушек...

– Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

– Так-с, – заметил Бабский, – надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

– Я стою.

– Ага. Ну стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускать сквозь бороду изобретатель.

– Уже без четверти семь, – канючил невидимый. – Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

– Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки – запасные части к бициклу.

– Пошел вон! – завопил Бабский. – Хулиган! Ну, вон отсюда!

Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

– Я на вас в суд подам!

– Я тебе подам! Украл мыло и еще пристаает!

– Вы не имеете права, – хорохорилась пустынная улица, – ответите, как за убийство!

– Ворюга! – дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. – Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате, успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуввав запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменялась вся жизнь регистратора, даже не переменялась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно – возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полустовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:

КТО КУДА, А Я – В СБЕРКАССУ!

«А я куда? – горько подумал невидимый. – Куда я?»

Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест, златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

– А я куда? – прошептал Филюрин. – Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем – из отдела сборов.

– Пойду, – решил Филюрин наконец, – ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл во вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

– Что, Филюрин болен?

Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

– Не знаю, – сказал Каин Александрович без всякого выражения, – за ним эти штуки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.

Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский – одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:

– Зачем нам управделами ПУМа?!

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский, Евсей Львович, ничего общего с Иванопольским, Петром Каллистратовичем, не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра, – это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:

– Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

– Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела – Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

– Ну что? – спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо. – Как адреналин?

– Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

– Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

– А все-таки? – настаивал Евсей Львович.

– Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

– Неужели уриной?

– Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

– Тут станешь нервным, – заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь. – Что же вы все-таки думаете?

– Я думаю, что это все-таки отравление. Посовещуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.

Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.

– Что же с Филюриным? – спросили из угла. – Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.

И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам.

– Алколоиды, – сказал Пташников, усмехаясь, – просто выпил лишнее.

– Ничего подобного! – отозвался Костя. – Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.

Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.

– Кстати, Пташников, – сказал Костя с тревогой, – я слепну.

– Да ну вас! – ответил инструктор-обследователь. – Вечно вы выдумываете какие-то болезни!

– Да ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.

– Ладно. Дайте пульс, – на всякий случай сказал Пташников. – Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.

В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.

«Что скажет Каин Александрович?» – тоскливо думал невидимый.

Глава III «Кто куда, а я – в сберкассу!»

Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полновзвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.

- Этого не может быть! – кричал Доброгласов.
- Ей-богу! – защищался Филюрин. – Спросите Бабского!

Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали:

- Ну чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.

Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чая.

- Это бюрократизм! – кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства. Впрочем, никто ничего не понимал.

У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:

– Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Каин? Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!

- Ну, нету! В Америке, наверно, есть и не такие!

- Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!

– Не мешайте! – шептал Евсей Львович. – Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере...

В это время Каин Александрович наседа на растерявшегося невидимого.

- В конце концов, это не дело администрации, а дело месткома.

Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.

- Я только об одном прошу, чтобы мое дело разобрали!

- Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?

- Я здесь.

- Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу.

Обратитесь в страхкассу.

- Но ведь я же здоровый человек.

- Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Сотрудники переглянулись.

- Самодур, – прошептал Иоаннопольский. – Без согласования с месткомом!

– Да, да, Филюрин, – продолжал Каин Александрович, – хватит с меня управделами ПУМа. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!

- Меня убили! – закричал невидимый. – У меня украли тело!

- Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!

- Какое может быть погребение живого человека!

– Это парадокс, товарищ, – ответил Каин Александрович. – В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?

Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.

Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?!»
– Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.

После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого, служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.

– Прямо анекдот! – повторял невидимый.

Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.

– Ну, что новенького в отделе? – спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.

– Ничего, – ответил Иоаннопольский, – говорят, новая тарифная сетка будет.

– Три года говорят, – слышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.

– Да.

– Вы знаете, меня еще и обокрали! Ей-богу! Все чисто украли.

– А вы заявили в милицию?

– Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! – с горечью произнес голос регистратора.

– Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!

Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое – счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистрации.

– Как же все это произошло? – спросил Евсей Львович. – Расскажите подробно.

Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.

– Бывает, бывает, – сказал инкассатор, – на свете, пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.

– Это бабьи разговоры! – сказал невидимый.

– Нет-нет! – закричал инкассатор. – Это не пустяк.

Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.

– Выходит, что и я призрак, – усмехнулся Филюрин.

Но его не услышали.

Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.

– ...Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.

Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.

– Вы еще здесь, Егор Карлович? – спросила она.

– Здесь.

– Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!

Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.

– Скажите, – обратился Филюрин к инкассатору, – вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?

Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.

– Егор Карлович? – спросил Пташников. – Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.

– Зачем же обращаться? – тупо спросил Филюрин.

– Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы мерили?

– Где там мерить! – сказал Филюрин грустно. – Пойду я в местком.

В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью: «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пищ-Ка-Ха.

– Меня не имеют права уволить! – раздался голос Филюрина. – Я трудоспособности не потерял!..

Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.

– Кроме того, меня обокрали, – закончил невидимый свой удивительный рассказ. – Ей-богу! Все начисто уперли.

– Так вы подайте в кассу взаимопомощи, – сказал председатель месткома, – в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.

Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.

– Впрочем, вам деньги не нужны. Ни к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас не могут. Есть пункт «г», но он к вам не подходит – обнаружившаяся непригодность к работе.

– Работать я могу! – воскликнул невидимый.

– Но зачем же вам работать! Раз есть-пить вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного...

– Как!! – завопил невидимый. – С какой стати меня на биржу посылать! Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извините, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтоб невидимых увольнять? Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.

– Что ж, это верно, – сказал председатель. – Этот вопрос надо заострить.

– А куда он деньги станет класть? – спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаша.

– Хоть псу под хвост! – грубо ответил невидимый. – Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто куда, а я – в сберкассе. Мое дело!

– Формально будем защищать, – сказал председатель. – Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать.

– Нет, это прямо безобразие какое-то, – заметил Филюрин, – взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!

Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалование идет полностью, как всякому.

– Сколько же такой невидимый может прожить? – спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.

– Неизвестно, – злобно ответил загадочный регистратор.

– Может, такой невидимый и не умирает вовсе? – продолжал Юсюпов.

– И наверно даже я буду жить вечно.

Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.

– Ты тут потише насчет вечности. Одурил от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули.

– А возможно, что и будет жить вечно! – завздыхал Юсюпов.

– Тебе, курьер, завидно! – огрызнулся Филюрин.

– Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.

Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:

– Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?

Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.

– Что вы все на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить.

– Скряга ты, Филюрин, – произнес председатель, – невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.

В эту минуту, спугнув лодырничавших сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.

– Товарищи посторонние! – провозгласил председатель. – Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.

Комната мигом обезлюдела.

Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.

– А этот уже есть? – спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение.

– Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.

Каин Александрович убоился конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.

В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.

– Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа Ивановпольский? Не понимаю.

– Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоаннопольский совсем не тот.

– Нет, – сказал Доброгласов, – я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.

– Что же вы хотите? – спросил председатель месткома.

– Я требую жертв, – повторил Каин Александрович. – Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс-неволенс...

И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.

Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделеми ПУМа пошло в примирительную камеру.

– Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.

Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.

Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэллса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.

Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.

А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.

Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.

О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем ни ночью.

Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.

Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.

Глава IV

История города Пищеслава

Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того. Свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.

Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначашее название – Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.

Продукция машинки была неслыханная – три миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.

Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.

В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев, перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.

В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.

Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.

Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.

Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.

Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.

Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, сконструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:

– Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.

Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили.

Возвратить городу прежнее имя было совестно.

Так он и остался Пищеславом.

С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб – здание, по величине своей немногим только меньшее, чем московский Большой оперный театр.

Клуб помещался в лучшей части города – между шоколадным особняком РКИ и белорозовым ампирическим зданием уголовного розыска.

Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.

Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке, комендант, и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни.

Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам?

При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.

В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордоров – дорического, ионического и коринфского.

Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чах от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.

В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стучаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь.

Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особым умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.

Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.

Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходяков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.

Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтора тысяча рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачала.

Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.

Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.

Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.

Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.

Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восьмью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Каракумской пустыни.

Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:

первый приз – сыну безлошадного крестьянина Окоемову за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;

второй приз – сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акц. о-ва «Граммфон»;

третий приз – сыну мелкого служащего Иоаннопольскому за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.

Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав, но он все-таки существовал и отмахнуться от этого было невозможно.

Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.

В городе часто случались скандальные происшествия.

В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.

Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит невовремя.

– Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.

Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.

Происшествию с Господовым «Пищеславский пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собою литературных групп – крестьянской группы «Чересседельник» и городской – ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).

«Многоуважаемый товарищ редактор! – писал «Чересседельник», – не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

“Литературная группа «Чересседельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Чересседельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС...”»

Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.

Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.

«Многоуважаемый товарищ редактор! – писала ПАКС. – Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

“Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Черессдельник»”».

Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы не было видно.

Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб.

Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бесцельна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.

Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках, с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах.

На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.

Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побегал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.

Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжицу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно.

Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.

«Первый Госцирк! – прочел Филюрин вслух. – Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».

Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам – к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попало на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением.

– Ну и люди теперь пошли! – воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.

Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.

– Ни стыда, ни совести у людей нет, – шептал Прозрачный, переворачивая большие листы.

С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.

– Действительно, – бормотал он, проплывая между колоннами, – безобразия творятся.

Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович, – думал он, – тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».

Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.

Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.

– Тоже построили! – закричал он в негодовании. – Входа-выхода нет. Под суд таких!

И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:

– Под суд!

Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.

Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.

В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:

– Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!

Глава V

Юбилейная речь

В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих.

Сон оказался в руку.

Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней – неудачно и что примкамера, подавленная красноречьем Доброгласова, решила дело в пользу администрации.

– Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! – закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу. – Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!

Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки.

Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:

– Кто же сядет на главную книгу?

– Назначили Авеля Александровича, – ответил Пташников, – он уже утвержден.

– Конечно, – сказал Иоаннопольский.

Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.

– Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.

Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденский знахарь сделал вид, что поглощен работой.

– Я сделал анализ, – сказал Иоаннопольский.

Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.

– Я уже сделал анализ, – глухо повторил Евсей Львович.

– У вас достаточное количество красных кровяных шариков, – с неудовольствием произнес знахарь, – и, знаете, неудобно как-то в служебное время...

– Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? – лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.

Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.

– Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? – сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.

Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посередине комнаты и подошел к столу Филюрина.

Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок; может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь.

– Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил.

Ответа не последовало.

– Вы здесь, Егор Карлович?

Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.

Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:

– Что, Филюрин еще не приходил?

– Не приходил, – ответила Лидия Федоровна. – Смотрю, ручка не подымается.

– Может быть, он заболел? – живо отозвался Пташников.

– А разве невидимые болеют?

- Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.
- Но ведь он же ничего не ест!
- Тогда, может быть, на нервной почве? – ядовито сказал Евсей Львович.
- Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.

Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей, учрежденский знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болезнь все-таки не может.

Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.

С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом «Триггер и Брак», на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.

Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.

На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.

Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.

Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов со всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.

Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.

Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.

– Куда же он, однако, девался, мадам? – спросил Евсей Львович удивленно.

– Понятия не имею, – ответила мадам, выставив золотой пояс зубов. – Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.

– А вы, извините, мадам, кажется, в положении? – неожиданно молвил Иоаннопольский. – Где служит ваш муж?

Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.

– В таком случае до свиданья, – сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.

Бросив Юсюпова на полдороги, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.

– Уже! – завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.

Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.

– Что, уже? – зашептали сотрудники.

– Уже! – повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.

– Да говорите же, Евсей Львович, – взмолились сотрудники, – что уже?

Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:

– Уже исчез.

– Филюрин исчез?

– Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.

– Теперь, – сказал Пташников, – Каин Александрович его выкинет.

– Вы в этом уверены? – презрительно спросил Евсей.

– Уверен. А вы что думаете?

– Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?

– Ну что за шутки такие! – закричал Костя. – Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.

– Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?

– Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.

– А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?

За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.

– Да, граждане, и это может произойти очень скоро.

– Откуда вы взяли? Это фантазия!

– А невидимый человек – это не фантазия?! – возопил Евсей. – А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?

– В чем же дело? – загомонили служащие.

– Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин?

– Откуда же нам это знать?

– Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?

Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства, Иоаннопольский засмеялся.

Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.

– А я еще, – сказал он, вздрагивая, – сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.

– Да вы с ума сошли, – зашикал Евсей Львович, – что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?

Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего разговора уже не разгибалась.

– Боже меня упаси, – сказал знахарь трагически, – я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.

– Я не мог этого сказать, – возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: – Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.

– Кто же в этом сомневался! – сказала Лидия Федоровна. – Я редко встречала такого милого человека.

– Милого? Что милого! – подлизывался Евсей. – Если вы хотите знать, такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет.

Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастье совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель, с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея».

Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.

По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.

– Уж я его характер хорошо знаю, – говорил Евсей Львович, – можете поверить мне на слово.

Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя – исчезновение Прозрачного.

– Я просто так думаю, – говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны, – что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!

На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.

– Вы слышали новость? – кричал Иоаннопольский, входя в местком. – Прозрачный наконец взялся за ум! Когда его спрашивают – не откликается!

– Ну что из того? – спросил председатель месткома вяло.

Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.

– Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите, – это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»

Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРОВских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».

Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.

Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:

– Этот вопрос нужно заострить.

Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени.

На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.

Глава VI

Каин уволил Авеля

С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.

И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.

– Что с тобой, Каша? – удивленно спросил Апель Александрович, полулежа в кресле.

– Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! – завизжал Каин Александрович.

– Я тебя не понимаю. Этот тон...

– Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.

– Ты что, пьян? – грубо спросил Апель.

Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.

– Я всегда проводил, – говорил он вздрагивающим голосом, – беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю одностороннее решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.

Апель Александрович, растерянно трясая головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.

Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:

– Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!

При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.

Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.

Сперва он написал в стенную газету «Рупор благоустройства» заметку такого содержания:

НЕ ВСЕ ГЛАДКО

С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко, без ведома самого тов. К. А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А. А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на

службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича.

В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчился на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».

Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами, углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.

Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора «Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор благоустройства».

Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.

Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице.

Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.

– Что с вами? – закричал Евсей.

– Я родственник, – ответил Пташников.

– Чей?

– Ее.

– И Пташников указал на Лидию Федоровну.

– Кем же она вам приходится?

– Женою.

– Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.

– Скрывали, – зарыдала Лидия Федоровна. – Жили на разных квартирах.

– Сколько же времени вы женаты?

– Двадцать лет. Пятый год скрываем.

– И дети есть?

– Есть. Мальчик один, вы его знаете.

– Какой мальчик?

– Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.

– В таком случае, – сказал Евсей Львович, – вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.

Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны, молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.

– Знаете что, – сказал Евсей Львович, – такой важный вопрос без Прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом – как решит Прозрачный, так и будет.

Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.

Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.

Он подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.

Евсей засуетился.

– Ах, какая чернильница! – восторгался он. – Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.

– Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли. Да-а!

Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил:

– А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати... Егор Карлович еще не приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителей.

Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.

Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.

Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.

На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою многолетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.

Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерею в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах.

Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.

Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.

У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.

Две госпивные с зазорными названиями «Киевский шик» и «Веселый канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.

«Пищеславский пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:

“Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то что зарвавшиеся политиканы из «Чересседельника» нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим.

Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.

Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он пол-

ностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.

Бейте меня, а также топчите меня ногами.

Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекаръ”».

Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть пониже.

Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.

Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.

Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16 1/2 копеек.

На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.

Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.

– Тем лучше, – сказал Иоаннопольский, – оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода труб и барабанов? Это целая Панама!

– А завод как же остался?

– Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!

Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.

В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.

Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.

В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных – мелкая сошка Филюрин – стал совестью города.

Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом.

«Ну его к черту! – думал он. – Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».

На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пardon» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно.

Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лapidус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром» и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарданеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищестреста» – французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.

Сам глава оптической фирмы «Тригер и Брак», известный проныра и тертый десятую прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал.

К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.

В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культурной работы.

В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.

Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.

Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.

– Что случилось? Что случилось? – пронеслось над толпой.

Еще не все знали в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.

В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.

Глава VII «А я здесь!»

Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.

Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.

В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человеческим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вдвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.

Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.

– Ау! – кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу.

Не получив ответа, невидимый закричал «караул», и на этот крик, знакомый всем пище-славцам с детства, стеклись каменщики и десятники.

А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.

Перепрыгивая через поверженные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.

– Покажите, где вы! – крикнул Иоаннопольский. – Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!

Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в исступление.

Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.

Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны.

– Товарищ Доброгласов, – сказал регистратор, верьте слову, я тут ни при чем...

– Как же ни при чем, – залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина, – когда совершенно наоборот.

– Эти возмутительные колонны заставили меня...

– Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.

– Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.

– Как другой? – закричал Прозрачный. – Я буду жаловаться! Я до суда дойду!

Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Прозрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:

– Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!

– Даешь Прозрачного! – закричала толпа.

Филюрин не понимал ровным счетом ничего.

«Ну и дубина же этот Прозрачный, – подумал Иоаннопольский. – Сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!»

И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:

– Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.

– Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! – пролепетал Доброгласов.

– Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! – зашипел Евсей Львович. – Хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!

– Разве я хотел его уволить? – смутился Каин Александрович. – Не помню, ей-богу.

– Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.

Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение.

Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.

– Вы и пешком дойдете, – сказал бесцеремонный Евсей, – вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?

– Здесь, – раздался голос с кожаной стеганой подушки.

– Возьмите мою шляпу и помахайте толпе, – посоветовал бухгалтер, – она это любит.

Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади. Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.

– Снимают! – сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.

– Я так и знала, – заявила жена. – После увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.

– Ты просто дура! – устало сказал Доброгласов.

Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры.

Жена, однако, не отставала.

– Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!

– А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.

– Но тебя ведь все равно снимают.

Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал:

– Ну, это еще бабушка надвое сказала!

– А ты получил отчисления от «Триггер и Брак» за поставку фонарей?

– Аннета, ты пошлячка! Ну как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?

– Чем же ты будешь кормить своих детей?

– Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.

Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался. После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.

– Они, Егор Карлович, теперь вас как огня боятся! – убеждал Евсей. – Какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мною сидит такая личность.

– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы, – сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.

Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного по-своему.

– Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.

– Кто же его уволит?

– Ну какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!

– Регистратор не может уволить своего начальника.

– Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.

– В самом деле, безобразия творятся! – сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.

На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:

– Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.

Каин Александрович настроил заявление, даже не пикнув.

Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.

Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:

– А я здесь! А я здесь!

Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.

Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают: «Вот еще, чего захотели», а нежно улыбаясь, отвечивают ее с пятиграммовым походом. Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.

И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.

И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше.

Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.

Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.

Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно этому строили планы на будущее: дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья и друзья его друзей.

Постегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище, как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятак, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.

Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками жильцов и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.

Эта услуга Евсея Львовича явилась первой.

За нею последовало угодничество более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.

С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.

Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.

Зато банкет после заседания был великолепен.

Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.

Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.

«Пищеславский пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.

Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.

– Шац, – сказал ему правая рука Прозрачного, – нужен новый памятник.

– Кому?

– Прозрачному!

– Нет, – ответил Шац, – я не могу больше делать памятников. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»

– Шац, Шац, памятник нужен, – продолжал Евсей, – и вы его сделаете.

– Это действительно так необходимо?

– Этого требует благоустройство города.

– Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.

– Почему?

– Разве может быть видим памятник невидимому?

Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.

– А все-таки вы представьте смету, – заключил он.

– Против сметы я не возражаю, – заметил скульптор, – ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам недешево. Вам бронзу или гипс?

– Бронзу! Обязательно бронзу!

– Хорошо. Все будет сделано.

В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславекого допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Иоаннопольский – подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.

Глава VIII

Хищник выходит на свободу

Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.

Обратимся к пружинам более тайным – к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.

Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Ивановский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.

Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению – начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.

Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Ивановский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.

Мимо Ивановского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».

– Аллю! – крикнул Ивановский.

Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Каллистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.

– Хамло! – сказал Петр Каллистратович довольно громко.

Затем он отправился в Пищестрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.

Приятель встретил Ивановского без радости. Ивановскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу.

– Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба.

– Вижу, – холодно сказал приятель.

– На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.

– Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?

– Ну конечно же.

– Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.

Ивановский сделал гримасу.

– Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда...

– Не мешайте мне работать, гражданин, – терпеливо сказал Аркадий.

Ивановский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:

– А я здесь!

Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Ивановского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:

– А я здесь! А я здесь!

Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.

Ничего решительно не поняв, Ивановский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищестреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.

«Что случилось? – думал бывший управделами. – Что за кислота такая в городе?»

Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганичкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Ивановский увидел большую сургучную печать.

Петра Каллистратовича взяла оторопь.

И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантъемы, процентные вознаграждения – словом, все то, что он для краткости называл живым делом.

Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальные, а третьих и вовсе не было – они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.

– Придется в другой город переезжать, – бормотал Ивановский. – Ну и дела!

А какие такие дела происходят в городе, он еще не уяснил.

– Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.

Делами общества со смешанным капиталом «Триггер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак, потому что Триггер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Триггера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.

Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.

Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде – пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.

Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.

Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки – гориллы Молли – выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.

Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.

Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.

На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.

Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось – она получала теперь свою порцию бананов полностью.

Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.

Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный.

– Если так будет продолжаться еще неделю, – кричал он, – я пропал!

В такую минуту пришел к нему Доброгласов.

– Ну, как насчет «пыщи»? – зло спросил его Брак.

«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсовнархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почему сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Много, почти все, обозначалось словом «пыща».

Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:

– Плохо.

– Душат? – спросил Брак.

– Уже задушили, – ответил Каин Александрович. – С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.

– За что?

– По вашему делу. Подряд на фонари.

– Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?

– Вполне естественно.

– Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.

– Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтерешки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы – лиходатель, а я – взяткобратель, а никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать друг друга.

– Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя – и я уже не человек.

– Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.

– Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И, сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего – могут посадить.

– Вы думаете, мне лучше? – с чувством сказал Каин Александрович. – Воленс-неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.

– Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?

– Попробуйте сковырните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?

– «А я здесь»?

– Ну да. Так вот, попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что!

– Вот если бы он не был прозрачный... – задумчиво молвил Николай Самойлович.

– Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местом и пискнуть не посмел бы!

– Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!

– Открыл Северную и Южную Америку! – с иронией произнес Доброгласов. – Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?

– Нет, не я.

– А кто?

– Тот, кто сделал его невидимым.

– Бабский!!

– Догадались наконец.

– Но ведь он совершенно сумасшедший.

– А самое существование Прозрачного – это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!

Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.

– Да! – закричал он. – Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!

Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки «лионез» и пошарил в карманах, бормоча:

– Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..

– Их жалеть нечего, – сказал Доброгласов, с лихвой окупим.

– Ну, с богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался.

И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шаг по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.

В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.

Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подсакивал вершка на три от мостовой.

– Я невидимый! – кричал голый низким колеблющимся голосом.

Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.

– Я невидимый! Я невидимый! – надсаживался человек. – Я перестал существовать!

– Кто это такой? – спросил Каин Александрович у мальчишки.

– Что тут случилось?

Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.

Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала.

– Срам какой!

– Давно такого хулиганства не было!

– В милицию его!

– Я невидимый! – вопил голый. – Я стал прозрачным. Я, прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!

– Бабский! – ахнул Доброгласов. – Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!

К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.

– Держите его, граждане! – крикнул он. – Окажите содействие милиции.

– Вон! – орал Бабский. – Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?

– Очень хорошо, – уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя, – не волнуйтесь, гражданин!

Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.

– Гениальные изобретения всегда просты! – кричал Бабский, валясь на спину извозчика. – «Невидим Бабского» – шедевр простоты – два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистиллированной воде!..

Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить – голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.

Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолабочный переулок видны были толстые аквамаринные икры городского сумасшедшего.

Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.

– Что ж теперь делать? – растерянно спросил Брак.

Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.

– Конечно! – сказал он. – Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.

Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.

– Зайдем ко мне, – предложил Николай Самойлович, – посидим, пообедаем. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.

– Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек...

Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:

– Вот!

В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Ивановский.

Глава IX

Юридический панцирь

Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Ивановский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.

Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Ивановского, блаженно улыбался и долго повторял:

– Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!

Когда Ивановский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».

– Загорелся сыр божий, – сказал он.

Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.

– Как ваше мнение, Петр Каллистратович? – спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.

Насторожился и Брак.

– Мое такое мнение, – объявил гость, – что Прозрачному нужно пришить дело.

Мысль, высказанная Ивановским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.

– Скажите, – вымолвил наконец Каин Александрович, – правильно ли я вас понял? Пришить дело?

– Это немыслимо! – вскричал Брак.

Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.

– Пришить дело. Безусловно.

– Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?

– Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?

– Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.

– Вот и убирайте. Я вам дал идею.

– Не шутите, Ивановский! – закричал вдруг Брак. – Какое может быть дело?! Филюрин физически не существует.

– Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный – лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.

– Хорошо, – заволновался Доброгласов, – допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!

– Если он сделает эту глупость, он погиб! – спокойно сказал Ивановский. – Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.

– А если явится?

– Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.

Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Каллистратовича.

– Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?

– Прозрачный, конечно!

– Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?

– Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И, наконец, зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача – посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!

Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.

– Я человек скромный, – сказал Ивановский, – но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.

После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Ивановский поднялся и сказал:

– Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?

Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому, была бы охота, повеселевший Ивановский ушел.

Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.

Некоторое утешение Ивановский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Ивановский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам – только до одиннадцати часов вечера.

Ивановский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.

На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.

Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:

«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».

Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.

Ничего не знавший о комплоте, организуемом против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.

Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.

Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.

Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.

– Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом, – осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.

– Нет, нельзя, – ответил Евсей, – получится какая-то видимость, а это уже не то.

– Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! – воскликнул Шац.

– Вроде Вандомской?

– Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.

– Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.

– Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посередине, а по бокам – портики, для прогулки граждан.

– И сквер!

– И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!

Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.

Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.

Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.

– Что с вами? – пошутил Евсей Львович. – У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.

Пташников замялся.

– Или отравление уриной? – приставал начальник.

Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.

– Вы слышали новость, Евсей Львович? – спросил он, с опасением поглядывая на дверь. – Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.

– Что за глупости!

– Честное слово, говорят.

– От кого?

– От бывшей его квартирной хозяйки.

– Какие глупости! – вскричал Иоаннопольский.

Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.

– Чепуха! – проговорил он менее уверенным тоном.

– Нет, нет! Говорят, совершенно точно!

– Ну что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!

– Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!

Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:

– Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.

– При чем тут я? – оправдывался знахарь. – Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.

– Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!

Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.

– Квартирохозяйка подала в суд!

– Чего же она хочет?

– Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.

– Как? Кто смеет возмущаться?

– Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!

– Это ложь! – завопил Евсей. – Они этого не докажут!

– А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.

Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.

Иоаннопольский знал силу сплетни.

«Хорошо, – думал он, – бегая вдоль стены кабинета. – Суд – это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен...»

– А я здесь! – раздался голос Прозрачного.

– Егор Карлович? – спросил Иоаннопольский. – Ну так говорите тише.

– Что новенького в отделе? – сказал Прозрачный. – Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?

Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.

– Разве это про меня говорят? – удивился невидимый. – Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.

Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:

«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».

– Еще можно все поправить, – сказал Евсей Львович, – вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?

– С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?

– В таком случае я ничего не понимаю! – воскликнул Евсей Львович. – Вы, серьезно, с ней не жили?

– Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!

– Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.

И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.

Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.

– Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! – закончил доброжелатель.

После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.

– Едемте ко мне! – торопил Евсей. – Нужно обсудить! Принять меры!

Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.

Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диз.

– Вот он! – вопила она. – Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!

– Бегите! – шепнул Евсей.

Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:

– На, подлец! Возьми своего ребенка!!!

Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:

– Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!

Евсей Львович был вне себя.

– Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!

И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.

– Он убежал! – надрывалась мадам Безлюдная. – Последний босяк этого не сделал бы.

Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.

Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверковом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брака.

А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Ивановский.

Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.

Глава X «Вопросов больше не имею»

Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.

– Ну, как насчет пыщи? – хохотал Николай Самойлович.

– Живое дело! – отвечал Иванопольский. – Говорю вам это как юридическое лицо юридического лицу!

А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу: «Приема нет».

В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью: «Приема нет!»

И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:

– Приама нет! Приема нет!

– Приема нет! – кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.

Все предвещало победу и обильную «пыщ», которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.

В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.

Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп – просто глупая болтовня пьяной бабы.

Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда преждевременно.

Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам – Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским – родным и богатым братьям Евсея Львовича.

«Не лучше ли бросить, – думал он, – всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»

Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.

На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.

– Евсей! – говорил Прозрачный плачущим голосом. – Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!

Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.

Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.

Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.

– Я не хочу платить алименты! – тосковал Филюрин. – Невидимый не должен платить алименты. Мало того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!

– Так вы смотрите, – увещевал Иоаннопольский, – говорите громко и медленно. Слышите?

– Да, слышу, слышу, – уныло отвечал Прозрачный, – вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.

Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:

– Суд идет! Прошу встать!

Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.

Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нар судья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:

– Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!

Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.

– А я здесь! – прокричал Прозрачный.

Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум – заседание начиналось общим сочувствием истице.

Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Ивановский. Доброгласов и Брак таились где-то в глубине. Евсей Львович в соломенной шляпе «канатъе» и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурным от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.

Вдова с плачем давала объяснения.

Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходил, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.

– Не кажется ли это суду подозрительным? – с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Калистратович Ивановский.

«Это жулик, – хотелось крикнуть Евсею, – не верьте ему».

Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.

– Уведите этого гражданина! – сказал судья курьеру.

Ивановский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.

– И я прошу, – закончила вдова, – чтобы суд заклеил обманщика и...

– И воочию показал, – не мог удержаться Ивановский, – что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал...

Конец вдовой речи Ивановский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.

– Не кажется ли суду подозрительным, – сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая «канатъе», – что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?

– А вы кто такой? Правозащитник? Тогда почему вы вмешиваетесь?

Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.

– Филюрин, Егор Карлович, – сказал судья, – дайте ваши объяснения.

Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.

– Что же говорить, товарищ судья! – грустно молвил Прозрачный. – Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?

– Можете.

– Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?

– Не подумала как-то, – ответила вдова, ища глазами поддержки в Ивановском.

– Больше вопросов не имею! – закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.

– Выведите этого гражданина, – сказал судья.

И судебное заседание продолжалось.

Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем.

Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.

Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.

Навербованные Ивановским свидетели оказались всесторонне осведомленными.

Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблагоприятный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.

Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вывалена в пыли.

Ввели Ивановского.

– Вы что, пришли как свидетель? – спросил судья.

– Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу, – с жаром сказал Петр Каллистратович.

– Выведите его, – страдальчески сказал судья, – и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?

– Четыре раза, – ответил Ивановский, которого на этот раз уводил милиционер.

Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.

Евсей долго вытирал лысину, прижимал «канатъе» к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:

– Больше вопросов не имею.

– Вы и не можете их иметь! – сказал измочаленный судья. – Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.

– Мало того что я невидимый, – слышался рыдающий голос, – она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.

– Прошу выбрать выражения! – сказал судья.

– Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.

– Держитесь ближе к делу.

Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.

– Товарищ судья...

Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пище-славцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.

На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотни-лось и приобрело очертания человека.

Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.

Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.

«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое дей-ствие.

Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.

– Согласен! – закричал он, обнимая судью голой рукой. – На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!

Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.

Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу доступных только непрозрачным людям чертовски приятных вещей.

Эпилог

На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.

– Скажите, – спросил он, – как вы попали на должность заведующего отделом?

– Вы сами меня назначили, – ответил Евсей Львович шепотом.

После вчерашнего он потерял голос.

– Не помню, не помню, – сказал начальник. – А где вы раньше служили?

– Там же. Бухгалтером.

– Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.

Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.

В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистрации земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам.

И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.

За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами ПУМа Ивановский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.

Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.

– Ну что? – спросил он.

– Я думаю, что это на нервной почве, – ответил Пташников по привычке.

– А знаете, – закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце. – А ведь веснушки-то действительно исчезли!

Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска

Синий дьявол

В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком.

Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше.

– Я попал под автомобиль, – сказал доктор Гром радостно, – потом судился.

И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья.

В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал:

– Убили!

Из остановившегося синего «паккарда» выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля.

– Убили! – твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам.

– А я его знаю, – сказал чей-то молодецкий голос. – Это посол страны Клятвии. Клятвийский посол.

Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по сто двадцать рублей в месяц.

По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске три дня и три ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич.

Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда.

На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по сто сорок рублей в месяц, как обремененному большой семьей.

На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения.

Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пенья Синдик-Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямоотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик-Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и сторублевую пенсию по гроб жизни.

Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием.

На отхожий промысел в Москву потянулись все – умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму.

Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье государственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Зашевелилась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель совета министров, господин Эдгар Павийainen, непрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа.

Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоколамска, Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики.

В палату был внесен запрос:

– Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится накануне краха?

На это господин председатель совета министров ответил:

– Нет, не известно.

Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.

Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно наострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину.

Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала.

С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала:

– Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд.

Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали:

– Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!

Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом.левой рукой он не владел.

– Сколько? – спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клятвийского казначейства.

Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом.

Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили.

И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения.

Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.

1928

Гость из Южной Америки

В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, не виданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный галстук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком.

Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на город Колоколамск и обтекающую его реку Збрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки.

В таком положении застал их через час председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели.

Остановившись за десять шагов от незнакомца, Подлинник с удивлением спросил:

– Пардон, где вы достали такой костюм?

– В Буэнос-Айресе, – ответил плачущий джентльмен.

– А галстук?

– В Монтевидео.

– Кто же вы такой? – воскликнул Подлинник.

– Я колоколамец! – ответил джентльмен. – Я Горацио Федоренкос.

Восторгам председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы.

Через десять минут Подлинник знал все. Герасим Федоренко, тридцать лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь – рыдает от счастья.

Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик-Бугаевским. Во время неофициальной части торжества Федоренкос плясал русскую. Он вилял спиной и мягко притопывал каучуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой тридцатидвухэтажного небоскреба для своих сограждан.

– Брешет, – говорили колоколамцы, качая гостя. – Что-что, а насчет дома брешет! Такие дома не могут существовать в природе.

Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков.

Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно.

К концу второго месяца небоскреб был почти готов. Тридцать второй этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах двадцать пятого этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров.

Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становится невыносимой.

В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной площадке своего этажа.

Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал:

– Милициос!

Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и пренебрежно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчанами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил.

В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными, учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома – на шестнадцатом этаже.

По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты как самые емкие были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз – на пастбище.

На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения: из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж – судиться и наконец в 29 этаж – Этаж заключения.

Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых квартир буржуйки.

Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты.

Никита Псов, житель 19 этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморные лестницы и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала:

– Никита Иваныч! Отдай хоть ключ от квартиры! Войти в квартиру нельзя!

Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж, этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой.

Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал:

– Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентельмента!

Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Вороньей Слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в

хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши.

На квартиру Подлинников, проживавших в глухом 32 этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от пронсящихся под окнами облаков.

В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала.

Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей, и губернский город не отражался больше в окнах 25 этажа.

1929

Васисуалий Лоханкин

Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по Малой Бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил.

Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость:

– Конец света. Потоп. Разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Светопреставление начинается. Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!

И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии.

Впечатлительный гражданин Пферд из дома № 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Пфердом, сведениям, Москва была уже затоплена и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Пферд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника.

Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть во цвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа.

– Может, переедем в другой город? – сказал Никита Псов, наименее умный из граждан.

– Лучше стрелять в небо из пушек, – предложил мосье Подлинник, – и разогнать таким образом тучи.

Но оба эти предложения были отвергнуты. Первое отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии.

И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожелением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилло, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся.

– Ковчег! – сказал он. – Нужно строить ковчег!

– Ной Архипович! – застонала толпа в предчувствии великих событий.

– Считаться не приходится, – отрезал капитан Похотилло. – Благодарить будете после избавления.

На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе.

Рабочим чертежом служил рисунок Доре из восемнадцатифунтовой Семкиной Библии, которую принес дьякон живой церкви отец Огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом.

– Считаться не приходится, – говорил капитан Похотилло.

На нем был штормовой плащ и зюйдвестка. Редкий дождь шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «Считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все: за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать.

С первых пассажиров, в числе которых были: мосье Подлинник, Пферд и Сицилия Петровна, сменившая утренний капот на брезентовый тальер, – расторопный капитан взял по

80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога «катеньку», за что был допущен внутрь с женой и вечнозеленым фикусом.

У ковчеге образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ноя Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагональные брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным.

Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена двадцатью двумя персонами, включая сюда кормчего Похотилло и его первого помощника Лоханкина.

– Ковчег не резиновый! – кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью.

Граждане с надрывом голосили:

– Пройдите в ковчег! Впереди свободнее!

– Граждане, пропустите клетку с воронами! – вопил Васисуалий Лоханкин.

Когда вороны были внесены, капитан Похотилло увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик-Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов.

– Ковчег отправляется! – испуганно закричал капитан. – Граждане! Сойдите со ступенек. Считаться не приходится!

Двери захлопнулись. Дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось.

Три дня и три ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего.

На четвертый день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась.

– Еще рано, – сказал Лоханкин.

– Воды еще не сошли! – разъярил капитан.

На пятый день выпустили вторую ворону. Она вернулась через пять минут. К левой ее ножке была привязана записочка:

«Вылезайте, дураки». И подпись: «Синдик-Бугаевский».

Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза им ударило солнце. Ковчег, весь в пыли, стоял на месте его постройки – посреди Малой Бывшей, рядом с пивной «Друг желудка».

– Позвольте, где же потоп? – закричал разобиженный Пферд. – Это все Лоханкин выдумал.

– Я выдумал? – возмущенно сказал Васисуалий Лоханкин. – А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?

– Считаться не приходится! – загремел Похотилло. И ударил гробовщика вороной по румяному лицу. Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи.

Город и его окрестности

Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведений наших читателей, что:

а) Колоколамск действительно существует;

б) ничего общего с Волоколамском не имеет и

в) находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов.

Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то, даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения.

Но автору вместе с художником К. Ротовым удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города.

Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себялюбского, напившись византийской водки, уронил в речку сбрую княжеского мерина. Упряжь утонула, и с тех пор река получила название Збруи.

Со времени этого события прошли века, Себялюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении сбруи знает только гражданин Псов-старший, который и рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка».

В реку Збрую впадает ничтожная речушка Вожжа. О ней ничего не удалось узнать, ибо Псов-старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на Большой Месткомовской улице.

Последовательно угостившись за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Малорусь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и в пивной завода имени Емельяна Пугачева, Псов-старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи.

Упомянутая Большая Месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где высится остов небоскреба, история которого читателю уже известна. Затем Большая Месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотилло, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору.

Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку портного Соловейчика. Здесь, в бору, он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название Соловейчика-разбойника.

Вправо, на горе, высится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в Переучетном переулке, неподалеку от Семибатушной заставы.

Восточная часть города справедливо гордится двумя Бывшими, на стыке которых был построен ковчег – Бездокладной и Землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии.

Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными Индивидуальными банями.

Обойдя молчанием ничем не выдающиеся Мелколавочный, Малосольный и Малахольный переулки, отметим темное пятно города – Приключенческий тупик. Он получил свое

название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде.

Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Геть неграмотность» и горящий дом у Семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно уже в течение пяти лет. Его каждое утро поджигает домовладелец брандмайор Огонь-Полыхаев, чтобы дать работу вверенной ему пожарной команде.

Южная, она же Привокзальная, часть Колоколамска отличается красотой расположенного на ней Старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находятся Спасо-Кооперативная площадь с лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством мосье Подлинника, воензированные курсы декламации и пения Синдика-Бугаевского, старинный храм Выявления Христа, оживленная Гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы «Все за лечобу».

Особенно поражает на Спасо-Кооперативной площади могила неизвестного частника.

В начале нэпа в Колоколамск приехал никому не известный частник за конским волосом. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар, к вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-Кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось.

Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата (никто из колоколамцев никогда не воевал), горожане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасимый огонь. Каждую неделю, по субботам, Соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье.

Западная часть города состоит из трех улиц и одного переулка. Широкий, прямой как стрела Кресто-Выдвиженческий проспект украшен новой, Кресто-Выдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие».

Единодушная улица и продолжение ее – Единогласная – соединяются с Южной частью города Досадным переулком. Между Единодушной и Единогласной высится каланча и милицейская часть.

Самая молодая часть города – Зазбруйная часть – стоит на стрелке, образуемой Вожжей и Збруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц.

Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив.

Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится.

1929

Страшный сон

Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в историю города.

Казалось бы между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишним раз прославить Колоколамск.

Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной «Голос минувшего».

Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер, но так или иначе Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве.

Приснилось ему, что на стыке Единодушной и Единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах.

– Тут я, конечно, хотел бежать, – рассказывал Завитков соседям, – а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс.

– Партийные? – восклицали соседи.

– Партийные! Стояли и кланялись. Стояли и кланялись.

– Смотри, Завитков, – сказали соседи, – за такие факты по головке не гладят.

– Так ведь мне же снилось! – возразил Иосиф Иванович, усмехаясь.

– Это ничего, что снилось. Были такие случаи... Смотри, Завитков, как бы чего не вышло!

И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы.

Целый день Завитков шлялся по городу и, вместо того чтобы варить свою «Африку», советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой.

То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу.

Когда он переступил наконец порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей.

– Ну, Завитков? – спросили они нетерпеливо.

Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад, в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества «Геть рукопожатие» гражданин Долой-Вышневецкий.

– Видел? – спросил председатель грозно.

– Видел, – устало сказал Завитков.

– Их?

– Их самых.

И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. Десять партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-Кооперативной площади.

– Хорош ты, Завитков, – сказал Долой-Вышневецкий, – много себе позволяешь!

– Что же это, граждане, – гомонили соседи, – этак он весь Колоколамск под кодекс подведет.

– Где же это видано, чтоб десять партийных одному беспартийному кланялись?

– Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься.
– Сон это, граждане! – вопил изнуренный Завитков. – Разве мне это надо? Во сне ведь это!

За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели мосье Подлинник.

– Граждане! – сказал он. – Слов нет, Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеить? И я скажу – нет. Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок. И пусть заснет спокойно.

Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с мосье Подлинником и решили дожидаться следующего утра.

Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах.

Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили Бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к Семибатушной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы.

Всю ночь спящий Завитков подсознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель Губисполкома, вышел из машины, стал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку.

Со стоном выбежал Завитков на улицу.

Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы.

– Видел! – закричал он, бухаясь на колени. – Председатель исполкома мне ручку поцеловал. Вяжите меня, православные!

К несчастному приблизились Долой-Вышневецкий и мосье Подлинник.

– Сам понимаешь, – заметил Долой-Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, – дружба дружбой, а хвост набок.

Толпа одобрительно роптала.

– Пожалуйста, – с готовностью сказал Завитков, понимавший всю тяжесть своей вины, – делайте что хотите.

– Его надо продать! – заметил мосье Подлинник с обычной рассудительностью.

– Кто же купит такого дефективного? – спросил Долой-Вышневецкий.

И, словно в ответ на это, зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на Губшоссе.

Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале». В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.

– Какой город? – хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки.

– Колоколамск! – закричал из толпы Никита Псов. – Колоколамск, ваше сиятельство!

– Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?

– Есть один продажный, – вкрадчиво сказал мосье Подлинник, приближаясь к кибитке. – Вот! Завитков!

Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.

– Давай! – рявкнул главный.

Связанного Завиткова положили в кибитку. И караван вихрем вылетел из города.

– Не поминайте лихом! – донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова.

А метель все усиливалась и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось. Как ядро, выкатилась луна. Оконные стекла заросли морозными пальмами. Город мирно спал. И все видели обыкновенные мирные сны.

1929

Пролетарий чистых кровей

Колоколамцы не в шутку обижались, когда им указывали на то, что в их славном городе нет пролетариев.

– Как нет? – восклицали колоколамцы. – А Взносков! Наш-то Досифей Взносков! Слава богу, не какой-нибудь частник. Пролетарий чистых кровей.

Весь город гордился Досифеем Взносковым, один лишь Досифей Взносков не гордился самим собой. Дела его шли плохо.

Взносков был холодным сапожником, проживал в Зазбруйной части города, на Штопорной улице, а работал на Привозном рынке в базарные дни.

То ли базарных дней было мало, то ли колоколамцы, не склонные к подвижности, почти не изнашивали обуви, но заработки у Досифея были ничтожны, и он сильно горевал.

– Пролетарий я, действительно пролетарий, – говорил он хмуро. – И кровей, слава тебе господи, не смешанных. Чай, не мулат какой-нибудь. А что толку? Выпить не на что!

В таком настроении забрел он однажды на квартиру к мосье Подлиннику. Цель у Взноскова была простая – отвести душу. А всем в городе было известно, что отвести душу легче всего в разговоре с рассудительным председателем лжеартели.

Подлинник, облаченный в рубашку-гейша, с расшитой кренделями грудью, сидел за обеденным столом.

Перед ним дымился суп-пейзан, в котором привольно плавал толстый кусок мяса. Водка в пузатом графине отливала оловом и льдом.

– Принимайте гостя, товарищ Подлинник, – сказал холодный сапожник, входя, – чай, не мулат, не метис какой-нибудь.

– О чем может быть речь! – ответил лжепредседатель. – Садитесь, мосье Взносков. Вон там, возле граммофона стоит пустой стул.

Досифей покосился на пар, восходивший над супом-пейзан, и, жмуря глаза от ртутного блеска графинчика, уселся в углу комнаты и начал обычные жалобы.

– Пролетарий я, действительно. Не индеец какой-нибудь. Чистых кровей. А выпить тем не менее не на что.

Несмотря на этот прямой намек, Досифей приглашен к столу не был. Подлинник, багровея, проглотил большой кусок мяса и, отдышавшись, молвил:

– Удивляюсь я вам, мосье Взносков. С вашим происхождением...

– На черта мне это происхождение! – с тоской произнес холодный сапожник. – Из происхождения шубы не сошьешь.

Подлинник застыл с вилкой в руке, держа ее, словно трезубец.

– Вы думаете, не сошьешь шубы? Из происхождения, вы думаете, нельзя сшить шубы?

– Нельзя!

И сапожник печально постучал пальцем по розовой граммофонной трубе. Подлинник вдруг поднялся из-за стола и задумчиво прошелся по комнате. Минуты две он размышлял, а затем внес совершенно неожиданное предложение:

– Тогда, мосье Взносков, – сказал он, – продайте мне свое происхождение. Раз оно не подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите?

Холодный сапожник еще раз глянул на графинчик и вступил в торг. Он требовал: яловочные сапоги одни, портьеру одну, четверть водки и три рубля деньгами. Подлинник со своей стороны предлагал рюмку водки и тарелку супа-пейзан.

Торговались они долго. Продавец, рассердившись, уходил, Подлинник выбегал за ним на улицу и кричал – «Псст», продавец возвращался, и снова уходил, и вновь возвращался, но

Подлинник не прибавил ничего. На том и сошлись. Пролетарское происхождение было продано за рюмку водки и суп-пейзан.

– Смотрите, мосье Взносков, – сказал Подлинник. – А оно у вас настоящее, это происхождение?

– Чай, не абиссинец! – возразил холодный сапожник, с удовольствием проглатывая водку. – Чистых кровей. Товар настоящий.

И слава Досифея Взноскова, – слава, которую он не сумел оценить, померкла. На колоколамский небосклон торжественно выплыла тучная звезда почетного городского пролетария мосье Подлинника.

Председатель лжеартели вцепился в свое новое происхождение с необыкновенным жаром. На Привозном рынке он приобрел связку лаптей и якобы пешим ходом смотался в губцентр, чтобы поднести лапоточки ответработнику товарищу Плинтусову, его жене мадам Плинтусовой и их детям: мальчику Гоге и девочке Демагоге.

Назад взамен лаптей Подлинник привез большое удостоверение какого-то кредитного товарищества с резолюцией товарища Плинтусова – «удовлетворить». Что значилось в удостоверении, не знала даже мадам Подлинник, но мощь его была настолько велика, что позволила новому пролетарию значительно расширить обороты лжеартели и близко познакомиться с прекрасным словом «сверхприбыль».

Мосье Подлинник ходил теперь в коричневой кожаной тужурке с бобровым воротником, в каракулевой кепке и в фетровых сапогах, восходящих к самым бедрам.

– Слава богу, – скромно говорил он, – я не какой-нибудь мулат. Пролетарий чистой крови.

Для того чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, Подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков мосье.

По мужской линии род Подлинника восходил к Степану Разину, а по женской – Фердинанду Лассалю.

Из этого же древа явствовало, что прапрапрадедушка мосье в свое время был единственным в Киеве полянином, который протестовал против захватнической политики Аскольда и Дира.

Это был пир генеалогии, знатности и богатства.

О холодном сапожнике, продавшем свое происхождение, все забыли, но сам Досифей Взносков страдал невыразимо. Позднее раскаяние грызло его душу. Он не спал по ночам, похудел и перестал пить.

И однажды все увидели, как Досифей прошел через город, неся в правой руке дымящую тарелку супа-пейзан, а в левой – рюмку водки. Он шел как сомнамбула, шел выкупать свое пролетарское происхождение.

Он вошел в дом Подлинника и с дарами в руках остановился на пороге.

Мосье пролетарий сидел за безбрежным письменным столом. На мизинце его левой руки блистал перстень с бриллиантовыми серпом и молотом. Стена была увешана редчайшими портфелями. Они висели, как коллекция старинного оружия.

– Вы пришли к занятому человеку, – сказал Подлинник.

– Вот суп, – робко сказал Досифей, – а вот и водка. Отдайте мне назад мое пролетарское происхождение.

Подлинник встрепенулся.

– Тронутое руками считается проданным, – сказал он ясным голосом. – Происхождение в последнее время поднялось в цене. И я могу обменять его только на партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет?

Но у Досифея Взноскова билета не было. Он был безбилетный.

Медленно он вышел от Подлинника и удалился в свою Зазбруйную часть. Переходя реку по льду, он остановился у проруби, с тоской оглянулся и бросил в воду тарелку с уже остывшим супом и рюмку с водкой.

1929

Золотой фарш

Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского не неслась. А в среду в 8 часов и 40 минут вечера снесла золотое яйцо.

Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом.

С утра Евтушевский, как обычно, был занят: продавал дудки, копался в огорожке, заряжал и разряжал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промысловой лжеартели «Личтруд» мосье Подлинника.

После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палкой и попали. До самых сумерек Евтушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседей.

День был вконец испорчен. Жизнь казалась отвратительной. Дудок в этот день никто не купил. Пополнить запасы топлива не удалось. Курица не неслась.

В таких грустных размышлениях застали Евтушевского мосье и мадам Подлинники. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чета Подлинников prepares мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд.

– Имейте в виду, мосье Евтушевский, – сказал председатель лжеартели, – что ваши мышеловки имеют большой дефект.

– Дефект и минус! – укоризненно подтвердила мадам Подлинник.

– Ну да! – продолжал мнимый председатель. – Ваши мышеловки слишком сильно действуют. Клиенты обижаются. У Бибиных вашу мышеловку нечаянно зацепили. Она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодец.

– Упала и утонула, – добавила председательша. Евтушевский погрузнел еще больше.

Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотанье и затрещали крылья.

– Ей-богу, сейчас снесется! – закричал дудочник, вскочив.

Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто бы на пол упала гиря. На середину комнаты, гремя, выкатилось темное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома.

– Что т-такое?

Евтушевский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсовым резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместе с Евтушевским наклонилась к полу и лжеартельная чета.

Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посередине которого матово блистало крупное золотое яйцо.

Отороπή взяла присутствующих. Первым очнулся мосье Подлинник.

– Это большое достижение! – сказал он деревянным голосом.

– Достижение и плюс, – добавила жена, не сводя лунатических глаз с драгоценного предмета.

Подлинник потянулся к яйцу рукой.

– Не балуй! – молвил дудочник и схватил вороватую руку.

Голос у него был очень тихий и даже робкий, но вцепился он в Подлинника мертвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтоб не мешала. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху.

Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился.

– Пустите, – сказал лжепредседатель. – Я только хотел посмотреть, – может, яйцо фальшивое.

Не отпуская Подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжелым и весило не меньше трех фунтов.

– Яичко что надо, – завистливо сказал мосье. – Но, может быть, оно все-таки фальшивое.
– Чего еще выдумали, – дудочник высокомерно усмехнулся, – станет вам курица нести фальшивые золотые яйца. Фантазия ваша! Слуш-шай-те... Да тут же проба есть. Ей-богу... как на обручальном кольце.

На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывавшее 56 пробу.

– Ну, теперь вас арестуют, – сказал Подлинник.

– И задавят налогами! – добавила мадам.

– А курицу отберут.

– И яйца отберут.

Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо.

– Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо.

– Пока одно. Потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца. Евтушевский, мосье Евтушевский! Имейте в виду, мосье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал. Был такой прецедент.

– И что там было внутри? – с любопытством спросил старый дудочник.

– Ничего не было. Что там может быть? Потроха...

Евтушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его о брюки. Яйцо заблестело пуше прежнего. Лучи лампы отражались на его поверхности лампадным, церковным блеском. Евтушевский не проронил ни слова.

Председатель лжеартели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетки и чуть даже не наступил на притихшую курочку.

Евтушевский молчал, тупо глядя на драгоценное яйцо.

– Мосье Евтушевский! – закричал Подлинник. – Почему вы молчите? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите, мосье Евтушевский?

Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание.

– Он ее зарежет! – закричал Подлинник.

– Зарежет и ничего не найдет! – добавила мадам.

– Откуда же берется золото? – раздался надтреснутый, полный низменной страсти, голос Евтушевского.

– Вот дурак! – заорал разозленный лежпредседатель. – Оттуда и берется.

– Нет, вы скажите, откуда оттуда?

Мосье Подлинник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос не может. Минуты две он озадаченно сопел, а потом сказал:

– Хорошо. Мне вы не верите. Не надо. Но председателю общества «Геть неграмотность» вы можете поверить? Ученому человеку вы доверяете?

Евтушевский не ответил.

Супруги Подлинник ушли, оставив старого дудочника наедине со своими тяжелыми мыслями.

Всю ночь маленькое окошечко домика было освещено. Из дома несло кудыганье курицы, которой Евтушевский не давал спать. Он поминутно брал ее на руки и окидывал безумным взглядом.

К утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги Подлинник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла три фунта золота и что никакого жульничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки.

Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к домику Евтушевского. Но проникнуть в дом никому не удалось – дудочник не отвечал на стук в двери.

Наконец к дверям домика протиснулись Подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Геть неграмотность» товарища Балюстрадников. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли человеком-верстой.

После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского.

– Гм, – заметил Балюстрадников и сразу же взялся за яйцо.

Он поднес его к глазам, почти к самому потолку, с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные, еще теплые золотые яйца.

– Не правда ли, мосье Балюстрадников, – начал Подлинник, – это глупо, то, что хочет сделать мосье Евтушевский? Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца.

– Хочу, – прошептал Евтушевский.

За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом и нет никакого смысла тратиться на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом.

Председатель общества «Геть неграмотность» погрузился в размышления.

– Надо резать! – вымолвил он наконец.

Евтушевский, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала над столами и билась об оконное стекло.

Подлинник был в ужасе.

– Зачем резать? – кричал он, наседая на «Геть неграмотность».

«Геть» иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложенной за ногу.

– А как же иначе? Ведь курица питается не золотом. Значит, все золото, которое она может снести, находится в ней. Значит, нужно резать.

– Но позвольте!.. – вскричал Подлинник.

– Не позволю! – ответил Балюстрадников.

– Спросите кого угодно. И все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца.

– Пожалуйста. Под окном весь Колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите.

Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де Нанжи в четвертом действии оперы «Гугеноты», и предстал перед толпой.

– Граждане! – завопил он. – Что делать с курицей?

И среди кристальной тишины раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен.

– А что с ей делать, с курицей-то?

– Заре-езать! – закричали все.

– В таком случае я в долю! – воскликнул мосье Подлинник и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника.

В происшедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по Бездокладной улице. Преследователи, стучаясь головами о раму, выбросились на улицу и начали погоню.

Через минуту соотношение сил определилось так.

По пустой, нудной улице, подымая пыль, катилась курица Барышня. В десяти метрах от нее на длинных ногах поспешал человек-верста. За ним, голова в голову, мчались Евтушевский с Подлинником, а еще позади нестройной кучей с криками бежали колоколамцы. Кавалькаду замыкала мадам Подлинник со столовым ножом в руке.

На площади Барышню, вмешавшуюся в общество простых колоколамских кур, схватили, убили и выпотрошили.

Золота в ней не было и на грош.

Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу. И действительно, внешним своим видом Барышня ничем не отличалась от прочих колоколамских кур.

Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества «Геть неграмотность». В общей свалке и неразберихе он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества «Геть рукопожатие».

Золотого фарша нигде не нашли.

Смеющегося Евтушевского увезли на телеге в психбольницу.

Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка тяжело, как гиря, упал и покатился по полу какой-то круглый предмет, обернутый в бумажку.

В бумажке оказалось золотое яйцо, точь-в-точь как первое. Была и 56 проба. Но кроме этого на яйце были каллиграфически выгравированы слова:

С НОВЫМ ГОДОМ

На бумажке была надпись:

«Передать С. Т. Евтушевскому. Дорогой сын! Эти два яйца – все, что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатке. Когда-нибудь эти яички тебя порадуют. Твой папа Тигрий Евтушевский».

1929

Красный Калошник-Галошник

На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом.

Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Надтреснутые теноровые звуки колоколов Кресто-Выдвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые неслись с колокольни храма Выявления Христа.

Как всегда бывает по время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-Кооперативная площадь была запружена толпой.

У могилы неизвестного частника в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции, состоящий из четырех пеших милиционеров и их начальника товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымились. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам.

– В кого стреляют? – закричал Никита Псов, врзываясь в толпу.

Он несколько запоздал, и по его внешнему виду (сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива) можно было заключить, что если он сейчас же, немедленно, не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца.

Но Отмежуев не ответил. Задрал голову вверх, он пронзительно смотрел на низкие снежные облака.

Постепенно и толпа заприметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке.

– По вражескому самолету, – отчаянным голосом скомандовал Отмежуев, – пальба шеренгой!!

Шеренга, зажмурив глаза, выпалила.

– Недолет! – с сожалением крикнул Никита Псов. – Ну, все равно не уйдут, черти! Шляпами закидаем!

И тут же поделился с толпой своими соображениями:

– Знаем мы этих летунов! Это из страны Клятвии штурмовать наш Колоколамск летят. Ясное дело!

Слух о нашествии врага исторг у собравшихся на площади протяжный вопль.

Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через пять минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара:

КРАСНЫЙ КАЛОШНИК-ГАЛОШНИК

Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Мосье Подлинник, успевший занять наилучшее место на могиле неизвестного частника, сразу же заявил, что надпись поддельная и сделана она коварными клятвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать.

Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух.

Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплателей, которые свешивались за борт корзины.

– Сдавайся! – завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором.

Воздухоплататели размахивали руками и что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом.

Шар на минутку взмыл, но, продырявленный колоколамскими пулями, снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу.

– Сдаемся! – закричал пожилой воздухоплататель в роговых очках. – Сдаемся, дураки вы этакие!

Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома.

– Вот еще идиоты! – кричали сверху. – Навязались на нашу голову.

– Ладно уж! – отвечали снизу. – Сходи, Клятвия, на землю. Здесь посчитаемся!

При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплатателей перекосяться.

– Что вы делаете?! – кричали калошники-галошники.

Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину.

– Чтoб вы сдохли! – истерически закричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус.

Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валяные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу.

– Консервов нету? – деловито крикнул мосье Подлинник.

– Сукины вы сыны! – ответили воздухоплататели, уносясь в небеса.

Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего «Красный Калошник-Галошник» камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен. Шар, гонимый ветром, потащил остальных по Старорежимному бульвару к центру города.

Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брендмайор Огонь-Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды.

На Членской площади беглый шар был настигнут, и летуны были пленены.

– Что же вы, черти, – плача, вопрошал главный аэронавт в роговых очках и фрезовых кальсонах, – на своих кидаетесь с топорами?! Шар прострелили, дураки!

Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акация», для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный Калошник-Галошник».

– Написано на вас, что вы спортсмены? – угрюмо говорил Отмежуев. – Откуда мне знать? По уставу, после троекратного предупреждения, обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать!

– Да ну вас, болванов! – сказал человек в очках. – Давайте лучше шар чинить.

Но шара уже не было. Он пропал бесследно.

Зато на другой день после отъезда неудачливых калошников-галошников из города во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка.

Собачий поезд

Обычно к двенадцати часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу.

В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж.

В длинных самоедских санях, влекомых цугом двенадцатью собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом.

При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой.

Неизвестный путешественник быстро покатил по улице, часто похлестывая бичом взмыленную левую пристяжную в третьем ряду и зычным голосом вскрикивая:

– Шарик, черт косою! Но-о-о, Шарик!

Доставалось и другим собачкам.

– Я т-тебе, Бобик!.. Но-о-о, Жучка!.. Побери-и-гись!!

Колоколамцы, не зная, кого послал бог, на всякий случай крикнули «ура!».

Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помаhal ею в воздухе и около пивной «Голос минувшего» придержал своих неукротимых скакунов.

Через пять минут, привязав собачий поезд к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат: «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столе никаких скатертей не было.

– Чем прикажете потчевать? – спросил хозяин дрожащим от волнения голосом.

– Молчать! – закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива.

Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю:

– Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции Отмежуеву?

– Будут! – ответил молодой человек. – Я профессор центральной изящной академии странственных наук Эммануил Старохамский.

– Слушаюсь! – крикнул Отмежуев.

– Метеориты есть?

– Чего-с?

– Метеориты или так называемые болиды у вас есть?

Отмежуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный.

– Гнойниками не интересуюсь! – воскликнул молодой восемнадцатилетний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. – По имеющимся в центральной академии сведениям, у вас во время царствования Александра Первого благословенного упал метеорит величиную в Крымский полуостров.

Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас мось Подлинник, мудрейший из колоколамцев.

Он приветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра Первого благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов и

что старик этот единственный человек, который может дать профессору нужные ему разъяснения.

Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком.

– Ну что, старик, – дружелюбно спросил профессор, – в крематорий пора?

– Пора, батюшка, – радостно ответил полуторавековый старик, – в наш, советский крематорий. В наш-то колумбарий!

Потом подумал и добавил:

– И планетарий.

– Метеорит помнишь?

– Как же, батюшка, помню. Все приезжали, Александр Первый приезжал. И Голенищев-Кутузов приезжал с Эггертом и Малиновской. И этот, который крутит, киноимпатор приезжал. И Анри Барбюс в казенной пролетке приезжал. Расспрашивал про старую жизнь, я, конечно, таить не стал. Истязали, говорю. В 1801 году, говорю.

Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог.

– Ну-с, – задумчиво молвил профессор, – придется делать бурение.

За пиво он не заплатил, раскинул на Большой Месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение.

Через неделю он оброс бородкой, задолжал за шесть гроссов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников.

Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели.

– Пропадает наш Старохамский без средствиев, – говорили они дома за чаем, – а какое же бурение без средствиев!

По вечерам избранное общество собиралось в «Голосе минувшего» и разглядывало погибающего путешественника.

Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы.

– Вот, пожалуйста, что в газетах пишут, – бормотал он. – «Все на поиски профессора Старохамского», «Экспедиция на помощь профессору Старохамскому». Меня ищут. Ох! Найдут ли?!

И профессор рыдал с новой силой.

– Наука! – с уважением говорили колоколамцы. – Это тебе не ларек открыть. Шутка ли! Метеорит. Раз в тысячу лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит! А тут человек задаром гибнет!

Наконец через месяц экспедиция напала на верный след.

С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросанями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из «Голоса минувшего», с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы.

А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали:

– Гнойники есть?

– Нарывы есть?

На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного.

Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще человек двадцать исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны.

Вторая молодость

Грачи прилетели в город Колоколамск.

Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом, резкими голосами воздавая хвалу городским властям.

Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих.

Днем на склонах Старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава подымала голову.

Но не весенний ветер, не крики грачей, не попытки реки Збруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова.

– Источник! Источник! – вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан: – Своими глазами!

На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа.

Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика.

– Тпр-р-р! – сказал доктор Гром. И все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками.

– Ну, – строго спросил доктор, – скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?

Гром любил уснащать речь стихотворными цитатами.

– В Приключенческом тупике источник забил, – с убеждением воскликнул Никита. – Своими глазами!

И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в Приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псова, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли.

– Тут я, конечно, вскочил, – закончил Никита, – и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло. Своими глазами!

И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда.

– Прибежали в избу дети, – заявил доктор Гром, – если это не нарзан, то, худо-бедно, боржом.

Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в Приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника.

Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование.

– Слышали ль вы, – сказал он, наконец подымаясь, – слышали ль вы за рощей глас ночной? Слышали ль вы, что это – источник, худо-бедно, в десять раз лучше нарзана?

Толпа ахнула. И доктор стал выкрикивать результаты анализа.

– Натри хлораты – 2,7899! Натри бикарбонаты – 10,0026. Ферри бикарбоната – 3,1267, кали хлораты – 8,95.

– Сколько хлораты? – взволнованно переспросил мось Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.

– Восемь целых, девяносто пять сотых! – победоносно ответил Гром. – Буря мглою небо кроет.

– Что небо! – ахнул Подлинник. – Это все кроет. Это богатство!

– Кисловодску – конец! – сказал доктор. – При таких углекисло-щелочных данных наш источник вконец излечивает: подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирья, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву.

В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах.

Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, вернуть себе юношеское здоровье. Их подбадривал Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой.

Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мосье Подлинник и при помощи расторопного Отмежуева мигмом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью:

КОЛОКОЛАМСКИЙ
РАДИОАКТИВНЫЙ КУРОРТ
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»
ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР – *т. Подлинник*
НАЧАЛЬНИК АФО – *т. Отмежуев*
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад.

– А я? – в тоске спрашивал доктор.

После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг друга по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт:

ЗАВЕД. МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКО-
САНИТАРНОЙ ЧАСТЮ Д-Р ГРОМ

Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта.

Подлинник хлопотал как наездка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую и начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка.

На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60 % пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пильняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков.

Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью – доктор Гром.

В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд три лекции: «Вчера, сегодня и завтра колоколамского курорта», «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана».

Из последней лекции, а равно и из первых двух, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость».

Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска, уже выручка главного директора достигла изрядной суммы и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия, как вдруг дивный лечебно-показательный, методологическо-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул.

В Приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме № 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился.

За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова. Но предъявить к Псову претензии граждане не могли.

Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стелая.

1929

Мореplаватель и плотник

Неслышанный кризис, как ледящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек и с базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы.

В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же, в довершение несчастья, с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли.

К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества «Геть рукопожатие» гражданина Долой-Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу изжития рукопожатий.

Торжество открылось в лучшем городском помещении – анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки.

Шесть сотрудников общества «Геть рукопожатие» преподнесли любимому начальнику шесть шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками.

Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Балюстрадника одарило взволнованного юбиляра двенадцатью хромовыми портфелями крокодильей выделки.

Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял туш.

Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою четыре брезентовых портфеля с мечами и бантами.

Не ударил лицом в грязь и брандмайор Огонь-Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем: он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения.

Долой-Вышневецкий плакал.

Речь гражданина Подлинника, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через тысячу лет речь Подлинника наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского будет почитаться образцом ораторского искусства.

– Вы! – воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра. – Вы – жрец науки, мученик идеи, великой идеи отмены рукопожатий в нашем городе! Вот я плачу перед вами!

Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось.

– Я глухо рыдаю! – закричал он.

И сделал знак рукой.

Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями.

– Я не могу говорить! – проблеял Подлинник. И, захватив в руки груды портфелей, ловко стал метать их в юбиляра, дружелюбно покрикивая:

– Вы академик! Вы герой! Вы мореplаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!

Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой-Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться.

Такого юбилея Колоколамск еще никогда не видал.

На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку.

У мясных рядов вилась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой-Вышневецкий. Пять лет посвятил он великому делу истребления рукопожатий в пределах города Колоколамска, а первый день шестого года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.

– А вот кому хорошие портфели! – зазывал юбиляр. – А вот кому кожа на штиблеты, на сапоги, на дамские лодочки! Ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху – мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки!

Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам.

Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.

– Я не оратор! – говорил он. – Но десять рублей за этот портфель, с ума сойти! Тоже мореплаватель!

– У нас без торгу! – отвечал мореплаватель и плотник. – А вот кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! На сапоги! На дамские лодочки!

Торговал он и на другой день.

В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием.

Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель – глава общества «Геть рукопожатие».

1929

1001 день, или Новая Шахерезада

Товарищ Шайтанова

Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке Когтей и Хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов: начальник учреждения товарищ Фанатюк боролся со своим заместителем товарищем Сатанюком.

Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострились все больше, и момент трагической развязки близился.

Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга.

– Слышали? Фанатюка бросают в Минусинск на литературную работу!

– Слышали? Бросают! В Усть-Сысольск! На заготовку коровьего кирпича. Но не товарища Фанатюка, а вконец разложившегося Сатанюка.

Из раскаленных страстями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики ликовали и огорчались попеременно.

Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Его бросили в Умань для ведения культурной работы среди местных извозопромышленников.

И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.

Павел Венедиктович Фанатюк ничего не забыл, все помнил и с 1 апреля, т. е. с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника.

В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты.

Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному: начать в десять и кончить в четыре.

Неосмотрительные последователи Сатанюка с жестяными лицами толпились у входа в чистилище.

Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин.

– Лапшин? – спросил начальник звонким голосом. – Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатанюка?

– Служил, – сказал Ваня, – а теперь я при управлении делами.

– Вы бывший патриарх?

Бронеподросток Лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и потому промолчал.

– Ну, идите, – сказал Фанатюк, – вы уволены.

В коридоре к Лапшину подступили любопытствующие сослуживцы. Пока он, волнуясь и крича, доказывал, что с Сатанюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фанатюк успел уже уволить двух человек: одного за связь с мистическими элементами, а другого – за то, что во времена керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из министерства земледелия.

Засим порог кабинета переступила делопроизводительница общей канцелярии Шахерезада Федоровна Шайтанова.

Увидав ее, товарищ Фанатюк оживился. Шахерезада Федоровна слыла клеветкой поверженного Сатанюка, и Павел Венедиктович давно уже собирался изгнать ее из пределов конторы.

– А! – сказал Фанатюк и сделал закругленный жест рукой, как бы приглашая членов комиссии отведать необыкновенного блюда.

– Здравствуйте, Павел Венедиктович, – сказала Шайтанова страстным голосом.

В ушах Шахерезады Федоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Выгибаясь, она подошла к столу и подняла на Павла Венедиктовича свои прекрасные персидские глаза.

– А мы вас уволим! – заметил Фанатюк.

И члены комиссии враз наклонили свои головы, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком.

– Почему же вы хотите меня уволить? – спросила Шахерезада. – РКК не позво...

– Какая там Ре-Ке-Ке! – воскликнул Фанатюк. – Я здесь начальник, и я незаменим.

– О Павел Венедиктович, – промолвила Шахерезада, скромно опуская глаза, – керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже думала, что она незаменима. Но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Ливреинова.

– А кем он был? – с любопытством спросил Фанатюк.

– Он был незаменимеем из незаменимых, – ответила Шахерезада.

«Что ж, – подумал Павел Венедиктович, – уволить я ее всегда успею».

И сказал:

– Только покороче, а то уже половина третьего.

И Шахерезада в этот

Первый служебный день

начала рассказ —

О выдвигенце на час

– Рассказывают, о счастливый начальник конторы по заготовке Когтей и Хвостов, что два года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан Горчицей и Щелоком, – высокочтимый товарищ Ливреинов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюций. И не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды. И ни одна чистка не повредила ему, да продлит ЦКК его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству...

В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к четырем. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ Фанатюк сказал про себя:

«Клянусь Госпланом, что я не уволю ее, пока не узнаю, что случилось с начальником Горчицы и Щелока».

Выдвиженец на час

Когда наступил

Второй служебный день,

Шахрезада Федоровна прибыла на службу ровно в десять и, пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанатюка.

– Что же произошло с начальником конторы по заготовке Горчицы и Щелока? – нетерпеливо спросил начальник.

Шахрезада Федоровна Шайтанова не спеша уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила:

– Знайте, о товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии, что начальник Горчицы и Щелока товарищ Ливреинов имел гордый характер и большие связи. И он весьма преуспевал, ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связей и гордости? Ливреинов был убежден, что больше не нужно ничего, и полагал, что в деле плановой заготовки Горчицы и Щелока ему нет равных. И вот все о нем.

Случилось же так, что после трех лет безоблачного правления в контору Ливреинова был прислан выдвиженец. Свой переход в контору выдвиженец Папанькин совершил прямо от станка, а потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья – секретари – вбежали в кабинет Ливреинова и, плотно прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Ливреинов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые коверкотовые брюки, молвил:

– А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?

– Их заставляют подметать коридоры и разносить чай, – сказал первый секретарь. – Больше полугода выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство.

– Им не дают решительно никакого занятия, – сказал второй секретарь. – Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда.

Секретари смолкли.

– И это все способы, которые вам известны? – с насмешкой спросил Ливреинов.

– Все! – ответили секретари, поникая главами.

– В таком случае, – гневно воскликнул Ливреинов, – вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знайте же, глупые секретари, что есть сорок способов, и на каждый способ сорок вариантов, и на каждый вариант сорок тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю... У меня выработан идеальный план... Этот универсальный план гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день.

Но тут Шахрезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла. Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели, а товарищ Фанатюк сказал про себя:

«Клянусь Госпланом, я не вычищу ее, пока не узнаю об этом замечательном плане».

А когда наступил

Третий служебный день,

Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в десять часов утра, сказала:

– ...Этот универсальный план, – ответил Ливреинов, – гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые и неопытные секретари. Слушайте и учитесь. Я не заставлю выдвиженца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его бездельем, как это практикуется отпетыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку, раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам, я представлю ему всех служащих и скажу им: «Выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель». Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только недавно выписал из Италии за тридцать пять тысяч рублей золотом. И, всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот один день он, не имеющий понятия о заготовке Горчицы и Щелока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его калифом на час и несчастным на всю жизнь.

И, пройдя мимо изумленных секретарей, товарищ Ливреинов направился в прихожую, где на деревянной скамье томился застенчивый Папанькин в бобриковом кондукторском полу-пальто.

– Здорово, товарищек! – воскликнул Ливреинов. – Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдём.

И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет, раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им:

– Исполняйте все приказы товарища... товарища...

– Папанькина! – помог выдвиженец.

– Товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель.

Потом, всячески обласкав его, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Папанькину все сложнейшие дела по заготовке Горчицы и Щелока.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла.

А когда наступил

Четвертый служебный день,

она сказала:

– ...И Щелока. И, гордый своей незаменимостью и умением выходить из самых сложных положений, товарищ Ливреинов уехал. И вот все о нем.

А выдвиженец Папанькин действительно наделал за один день множество бед. Он сел в автомобиль, так легкомысленно доверенный ему Ливреиновым, и объехал все склады. Там он не нашел ни грамма горчицы, ни унции щелока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженций. После этого Папанькин выгнал всех трех секретарей и их ближайших родственников числом тридцать.

Вторую половину дня он посвятил работе созидательной, расторг договоры с частниками, ободряя достойных ободрения и порицая заслуживающих порицания. Впервые за три года учреждение работало нормально, и впервые за три года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору с просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища Ливреинова. И вот все о Папанькине. Что же касается Ливреинова, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому.

– Таким образом, – закончила Шахерезада Федоровна, – незаменимый из незаменимых пал от своей собственной руки. Но эта история, – продолжала Шахерезада, – ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Портищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю.

– Просим, просим! – закричали члены комиссии. Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

Двойная жизнь Портищева

А когда наступил

Пятый служебный день,

Шахерезада Федоровна, лучшая из делопроизводительниц, явилась аккуратно к началу занятий и вошла в кабинет начальника, где заседала комиссия по чистке...

– Рассказывайте подлиннее! – шептали ей вдогонку служащие, уже пятый день ожидавшие своей очереди. – Затягивайте!

Но Шахерезада сама знала, что делать. Усевшись перед судилищем, она скромно опустила глаза.

– Что же случилось с товарищем Портищевым? – воскликнул Фанатюк. – И почему он вел двойную жизнь?

И Шахерезада немедленно начала рассказ под названием:

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

– Знайте же, высокочтимые члены комиссии, что в рядах партии с тысяча девятьсот двадцать третьего года находился праведный коммунист Елисей Портищев. Работал он по профессиональной линии и занимал покойное место в одном из мощных московских губотделов.

Товарищ Портищев слыл работягой и любил выражаться о себе так:

– Мы, которые из деревенской бедноты, к работе привычные.

И действительно, как бы рано ни приходили служащие в губотдел, за столом зампреда уже находился товарищ Портищев. Ровно в десять ему подавали стакан кипятку. Чаю Портищев не потреблял, охраняя бесперебойную работу своего сердца.

В полдень Портищев вынимал из ящика письменного стола желтую репку и, заботливо очистив плод перочинным ножиком, разгрызал его жемчужными зубами.

Зубы у него были замечательные: красивее, чем вставные. Через час работяга съедал два холодных яйца всмятку.

Холодные яйца всмятку – вещь невкусная, но товарищу Портищеву было все равно. Он не ел, а питался. Он ел не яйца, а жиры, углеводы и витамины. Вслед за этим на столе товарища Портищева появлялась краюха хлеба и пакетик в пергаментной бумаге.

Из пакетика вынимался брусочек свиного сала и разрезывался на ломтики. Засим товарищ Портищев накалывал каждый ломтик на острие перочинного ножа и отправлял в рот.

После принятия пищи работяга сметал со стола крошки и, хотя делать было уже решительно нечего, принимал озабоченный вид перегруженного работой человека. Он до такой степени привык притворяться, что ничуть не скучал, глядя целыми часами в ненужную бумажку.

К концу рабочего дня товарищ Портищев подымался, богатырски разминал плечи и подходил к стенным часам-ходикам, чтобы подтянуть гирю. Он всегда делал это собственноручно, и горе тому партийному или беспартийному сотруднику, который осмелился бы прикоснуться к медной цепочке часов.

Если после занятий назначалось заседание ячейки, то и туда товарищ Портищев прибывал раньше всех. Он старался сесть прямо против секретаря и в продолжение всего заседания смотрел на него преданными глазами.

Обычно товарищ Портищев не выступал, ограничиваясь лишь внимательным выслушиванием ораторов и планомерным голосованием. Он тщательно следил за директивами, и его мнение с поразительной точностью совпадало с мнением вышестоящих товарищей.

Членские взносы он платил своевременно, и задолженности за ним никогда не бывало.

Портищев очень любил получать жалованье новенькими бумажками.

С командировочными и суточными доходы его составляли рублей четыреста в месяц. Их он расходовал весьма скупно.

– Куда нам, беднейшим слоям крестьянства, шикарить! Чай, не городские! – восклицал он. – Облигации покупать надо!

А на самом деле товарищ Портищев вел еще одну жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев...

Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

Шестой служебный день,

она сказала:

– ...Жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев...

По субботам, ровно в три часа дня Портищев покидал губотдел и устремлялся на вокзал. Уже в поезде товарищ Портищев преображался самым странным образом.

Чинное, железопартийное выражение разом слетало с его лица, и самая его толстовочка приобретала неуловимо вольный и обывательский оттенок. Зевая, товарищ Портищев с наслаждением крестил рот, чего никогда не позволил бы себе в губотделе.

В родную свою деревню, отстоявшую за шестьдесят километров от столицы, приезжал уже не мощный профработник, не борец за идею, не товарищ Портищев, а Елисей Максимович Портищев.

На станции его ожидала пароконная рессорная телега. По дороге в деревню встречные мужики прочувствованно ему кланялись, и он отвечал им гордым наклоном головы. Покинув лошадей на работника, губотделец говорил ему:

– Ты, говорят, спецодежду какую-то требуешь? Может, ты и восемь часов в день работать хочешь, как городской лодырь?

Поучив работника, Елисей Максимович с головой окунался в хозяйственные дела. Он по очереди осматривал конюшню с шестью лошадьми и жеребенком, большой, светлый коровник и свинарню, к которой он подходил с замиранием сердца.

Десятка два благообразных свиней производили слитный шум, напоминающий работу лесопильного завода. А потом сверкающий зубами Елисей Максимович шел через потемневший двор и, рассыпая из газетной бумаги привезенные с собою городские крошки, громко и властно кричал: «Цып! Цып! Цып!»

И домашняя птица, быстро кланяясь, внимала гласу профработника.

До поздней ночи сидел Елисей Максимович за струганым столом и беседовал с женой на хозяйственные темы. Обуревала профработника страсть к накоплению. Ему уже казалась мала усадьба, жалким казался дом, недостаточным количество скота.

– Мельницу бы взять в аренду! – стонала жена.

– Денег не хватит, – со вздохом отвечал Портищев, – разве командировку внеочередную взять с целью выявления недочетов союзного аппарата на периферии. Придется взять. Эх! Если б в партию не платить, все легче было бы!..

В воскресенье Елисей Максимович обязательно заходил с визитом в сельскую ячейку. В ячейке его, городского коммуниста, очень боялись и вместе с прочими крестьянами считали, что Портищев все может. Если захочет, то и деревню упразднит.

– Плохо у вас тут культработа подвигается! – говорил он тягуче. – Дорожного строительства не видно. Проработать не мешало бы.

В понедельник на рассвете Елисей Максимович со стесненным сердцем уезжал в город. Он вез с собою в платочке шесть репок на шесть дней, двенадцать яиц и небольшой окорочок. И чем ближе подходил поезд к Москве, тем строже становилось лицо Елисея Максимовича. На перрон выходил уже не хозяйственный мужичок, а товарищ Портищев – стопроцентный праведник.

В половине десятого товарищ Портищев входил в совершенно пустой еще губотдел, подтягивал гирю ходиков, толкал остановившийся за воскресный день маятник и снова начинал казенную часть своей двойной жизни. И вот все об этом обманщике.

– Но если товарищ Фанатюк разрешит, – добавила Шахерезада, – я расскажу высокочтимой комиссии еще более удивительную историю о товарище Алладинове и его волшебном билете.

Рассказ о товарище Алладинове и его волшебном билете

И Шахерезада Федоровна начала:

– Рассказывают, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссий по чистке, что мастер Тихон Алладинов был человеком скромным и деятельным.

Горячность, смелость и трудолюбие Тихона Алладинова были оценены по достоинству. И вот в один из прекраснейших дней его жизни, на открытом собрании ячейки, Алладинову вручили партийный билет в коричневом переплетике.

Взволнованный всем этим, Алладинов вышел во двор электростанции и присел на крыльчке. Дивная и радостная картина представилась его глазам: за рекой в елочных огнях лежал город, звездами было засыпано небо, от работы электростанции под ногами Алладинова тряслась земля, а внизу с шумом бежала в темную реку отработанная вода.

Счастливое раздумье Алладинова прервал старый рабочий станции Блюдоедов.

– Вот что, Тихон, – сказал он, – ты только что получил партийный билет. Знай же, что этот билет наделен удивительнейшими свойствами. Иногда достаточно лишь раскрыть его и похлопать по нем ладонью, чтобы получить то, чего желаешь, или избавиться от того, чего не желаешь. Это очень соблазнительно, но именно этого делать нельзя.

В этом месте Шахерезада прекратила свой рассказ, потому что служебный день окончился.

А когда наступил

Седьмой служебный день,

начальник конторы Фанатюк и члены комиссии прибежали в учреждение спозаранку и, как только аккуратная Шахрезада Федоровна ровно в десять часов вошла в кабинет, встретили ее нетерпеливыми криками:

– Что же сделал товарищ Алладинов, узнав о волшебных свойствах своего билета?

И Шахрезада, вежливо улыбнувшись, сказала:

– Знайте же, что товарищ Алладинов в течение двух лет вел себя с примерной скромностью и работал больше, чем когда бы то ни было.

Но однажды в доме Алладинова назначили экстренное собрание жильцов. Разбирался животрепещущий вопрос о том, кому дать две освободившиеся комнаты. В таких случаях никогда не бывает разногласий. Все хотят одного и того же. Каждый жилец хочет получить комнату, и именно для себя.

Экстренное собрание продолжалось тридцать шесть часов без перерыва. Было выкурено три тысячи папирос «Пли» и около восьмисот козых ножек. Во время прений председателю дали восемь раз по морде и в шести случаях он дал сдачи. На семнадцатом часу уволокли за ноги двух особенно кипятившихся старушек. На двадцать четвертом часу упал в обморок сильнейший из жильцов, волжский титан Лурих Третий, записанный в домовой книге под фамилией Ночлежников.

Но обмен мнениями ни к чему не привел. Тогда председатель, лицо которого носило кровавые следы прений, заявил, что распределит комнаты своей властью.

К этому времени в душе Алладинова созрело желание получить комнату какими то ни было средствами. Он увел председателя в уголок и прижал его спиной к домовой стенгазете «Вьюшка». Потом, сам не сознавая, что делает, он вынул из кармана партийный билет в коричневом переплетике, быстро раскрыл его и похлопал ладонью. И Алладинов сразу же заметил волшебную перемену в председателе. Глаза председателя покрылись подхалимской влажностью, и в комнате вдруг стало тихо.

На другой день Алладинов переменил свою комнату с пестрыми обоями на большую, удобную квартиру в ущерб другим, имевшим на то большее право.

«Дурак Блюдоедов, – подумал он, – зря только отговаривал меня. Билетик – хорошая штука».

И с тех пор товарищ Алладинов совершенно изменился. Он безбоязненно раскрывал билет и...

В этом месте Шахрезада заметила, что служебный день закончился.

А когда наступил

Восьмой служебный день,

она сказала:

– Он выбирал людей потрусливее и безбоязненно раскрывал перед ними билет, привычно хлопал по нем ладонью и часто получал то, что хотел получить, и избавлялся от того, от чего хотел избавиться.

И постепенно он переменялся. Он занял, явно не по способностям, ответственный пост с доходными командировками; от производства его отделила глухая стена секретарей, и он научился подписывать бумаги, не вникая в их содержание, но выводя зато забавнейшие росчерки. Он научился говорить со зловещими интонациями в голосе и глядеть на просителей невидящими цинковыми глазами.

А билет приходилось раскрывать и пользоваться его волшебными свойствами все чаще. Потребности Алладинова увеличивались. Казалось, желания его не имеют границ. Его молодая жена, Нина Балтазаровна, одевалась с непонятной роскошью. Она носила меховое манто, усеянное белыми лапками, и леопардовую шапочку. С утра до вечера она твердила мужу, что «теперь все умные люди покупают бриллианты». Сам товарищ Алладинов выходил на улицу одетый богаче, чем Борис Годунов в бытность его царем. На нем была богатая шапка, тяжелая, как шапка Мономаха, и длинная шуба.

Однажды, возвращаясь домой, он попал в переполненный трамвай. И, на его беду, он попал в один из тех зараженных ссорой вагонов, которые часто циркулируют по столице. Ссору в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. И мало-помалу в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже зачинщики спора давно сошли, утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления все продолжаются, и в перебранку вступают все новые и новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.

В такой именно, зараженный драчливой бациллой, вагон попал в нетрезвом состоянии товарищ Алладинов. В трамвае он давно уже не ездил, так как пользовался автомобилем.

И едва он попал на площадку, как оскорбил мирного пассажира словом и, не дожидаясь ответной реплики, оскорбил его также и действием. Все это он проделал, весело улыбаясь и представляя себе удивление милиционера при виде волшебного билета.

И, вдоволь насладившись, он вынул билет в коричневом переплетике, раскрыл его и похлопал по нем ладонью. Но билет не привел милиционера в трепет.

– А еще партийный! – сказал бравый милиционер. – Позор, позор, позор!

И, заломив руку пьяного товарища Алладинова японским приемом джиу-джитсу, милиционер свел его в отделение. Билет остался в отделении и больше не возвращался к его владельцу.

И пухлая звезда товарища Алладинова померкла с еще большей быстротой, чем взошла, потому что обнаружили все его нечистые дела. И вот все об этом позорном человеке. Но эта история, как она ни интересна, далеко уступает рассказу о двух друзьях – о товарище Абукирове и товарище Женералове.

– Я ничего не слыхал об этих людях! – сказал товарищ Фанатюк. И подумал: «Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой, по всей вероятности, замечательной истории!»

Рассказ о «Гелиотропе»

И Шахерзада Федоровна, музыкально позвякивая чайной ложечкой, неторопливо начала повествование:

– Знайте же, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что ни в одном городе Союза нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стеклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. Особнячки отделены от улицы садиками, где цветет сирень и хрипло поет скворец. У подъезда между двумя блестящими от утренней росы львами обычно висит черная стеклянная досточка с золотым названием учреждения.

В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетителей там не принимают, то ли представительство не ведет никаких дел и существует лишь для вящего украшения столицы.

Рассказывают, что в Котофеевом переулке издавна помещалось представительство тяжелой цветочной промышленности «Гелиотроп», занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбекнектар».

Штат «Гелиотропа» состоял из двух человек: уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов товарища Женералова. Они были присланы в «Гелиотроп» из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга.

Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, подымал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстанут такие же тихие дни, он поднял глаза и ласково посмотрел на Женералова.

То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учету вазонов товарищ Женералов с каменным лицом бросал костяшки счетов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги.

«Ой, – подумал начальник газонов, – у него тьма работы, а я лодырничая. Как бы не вышло неприятностей».

И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счета и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель и с облегченным сердцем покинул «Гелиотроп». И вот все о нем.

Что же касается начальника вазонов товарища Женералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлен поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и, как видно, усиленно работал.

Женералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался.

«Ой! – подумал он. – У него работы тьма, а я бездельничая. Не миновать неприятностей!»

И хотя Женералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счетам и начал отсчитывать на них какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из «Гелиотропа» позже своего деятельного коллеги.

Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минута в минуту, он уже застал Абукирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газо-

нами, в конце концов, гораздо больше, чем с вазонами, и пришел на службу не в десять, а в девять.

Но тут Шахерезада заметила, что время службы истекло, и скромно умолкла.

А когда наступил

Девятый служебный день,

она сказала:

– ...И пришел на службу не в десять, а в девять.

И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого.

На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из «Гелиотропа» в половине седьмого вечера.

Женералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту.

Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напившись ими, свободно и легко просидел до восьми часов.левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В восемь часов пять минут начальник вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел.

На четвертый день оба симулировали до десяти часов вечера. А дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе.

Женералов сидел до полуночи. Абукиров ушел в час ночи.

И наступило то время, когда оба они засиделись в «Гелиотропе» до рассвета. Желтые, похуевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим.

Наконец их потухшие глаза случайно встретились. И слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они враз признались во всем.

– А я-то дурак! – восклицал один.

– А я-то дурак! – стонал другой.

– Никогда себе не прощу! – кричал первый.

– Сколько мы с вами времени потеряли зря? – жаловался второй.

И начальники газонов и вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами.

Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли.

«А что, – подумал он, – если Женералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру?»

И, натянув на свои отошавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бостона, он побежал в «Гелиотроп».

Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго.

И действительно, между мокрыми львами «Гелиотропа» стоял Женералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников.

И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча:

– Тьма работы, срочное требование на вазоны!

– Работы тьма. Новые газоны!

И рассказывают (но один лишь Госплан всемогущий знает все), что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро.

И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица.

Но вся эта правдивая история ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с бараньими глазами.

– Я ничего не слышал о таком человеке! – воскликнул товарищ Фанатюк.

И подумал:

«Я дурак буду, если уволю ее, прежде чем узнаю о человеке с бараньими глазами!»

Человек с бараньими глазами

– В этом рассказе, – начала Шахерзада Федоровна, – будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами.

Борис Индюков сызмальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли, но Институт Стихотворных Эмоций, где он обучался, прихлопнул Главпрофобр, прежде чем Борис Индюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку.

Оставались еще две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинства слова, одновременно освобождая от воинской повинности: ИДИЭ, или Институт Динамики и Экспрессии на Поварской улице, и литкурсы артели лжеинвалидов под названием Литгико при ГАХНе.

Дела артели Литгико шли плохо, так что ректор беллетристического предприятия гр. Мусин-Гоголь уже собирался сматывать удочки: ему не под силу было конкурировать с Институтом Динамики и Экспрессии. Литгико пустовало, а ученики валом валяли в ИДИЭ, куда поступил также и Борис Индюков.

Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как Главпрофобр закрыл и эту литизбушку.

С печальным воем кинулись ученики в уцелевшее Литгико. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением.

Но Мусин-Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за два года вперед.

Литгико занимало половину магазина на 1-й Тверской-Ямской. Вторую половину и окно арендовал часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин-Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался Отдел отсрочек, где предъявителям квитанций выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик свалил свои неликвидные товары, сидел профессор-вундеркинд, тринадцатилетний декан факультета ритмической прозы, и громко читал стихи Веры Инбер.

Ровно через два часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый Главпрофобр закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин-Гоголь успел спастись, увозя с собою плату за право обучения.

И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За два месяца он сочинил роман из жизни дровосеков и дровосечек под названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил «Начальнику гублита дружелюбиво». Но эта предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман «Пни», у автора которого катастрофически не ладилось дело со сказуемым. Начальник гублита так и не узнал о дружелюбивом посвящении.

Тогда Индюков написал шесть романов: «На перепутье», «Пути и овраги», «Шагай, фабзаяц», «Серп и молот», «В ногу» и «Дуня-активистка».

Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль.

Но тут Шахерзада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. Когда же наступил

Десятый служебный день,

она сказала:

– ...В его голову пришла замечательная мысль.

Сообразив, что конкурировать с пятьюдесятью тысячами советских писателей – задача нелегкая и требующая некоторого дарования, Борис Индюков мыслил три дня и три ночи. И все понял.

«Зачем, – решил он, – самому писать романы, когда гораздо легче, выгоднее и спокойнее ругать романы чужие».

И с жаром, который сопутствовал ему во всех начинаниях, Борис Индюков принялся за новый жанр. На его счастье, молодая неопытная газета «Однажды утром» задумала библиографический отдел по совершенно новой системе.

– Понимаете? – радостно говорил редактор Индюкову, который случайно оказался в его кабинете. – Мы строим отдел библиографии совсем по-новому. Каждая рецензия – три строки. Понимаете? Не больше! Гениально! Отдел так и будет называться: «В три строки».

– Понимаю! – радостно отвечал Индюков.

– Отлично! – ликовал редактор. – Утром нос всем толстым журналам!

– Утром! – кричал Индюков тем же тоном, каким суворовские солдаты кричали: «Умрем».

Новая работа совершенно поглотила Бориса Индюкова. В трех строчках как раз вмещалось все то, что Индюков мог сказать о толстой, в четыреста страниц книге.

Рецензии на отечественные романы писались по форме № 1.

«Автор. Название книги. Из-во. Год. Цена. Число страниц». Кому нужна книга писателя (такого-то)? Никому она не нужна. Мы рекомендовали бы писателю (такому-то) осветить быт мороженщиков, до сих пор еще никем не затронутый».

Рецензии на иностранные романы писались по форме № 2.

«Автор. Название книги. Из-во. Цена. Число страниц». Книга французского писателя (такого-то) написана со свойственным иностранцам мастерством. Но... кому нужна эта книга? Никому она не нужна. Эта книга не впечатляет».

Подписывался Индюков самыми разнообразными инициалами, стараясь таким образом сбить со следа писателей. Он подписывался: «Б. И.», «А. Б.», «Индио», «Индус», «Инус», «Иус», а иногда просто «ов». Но, несмотря на эти предосторожности, Индюкова иногда выслеживали и поколачивали.

Спасаясь от побоев, Индюков вошел в охрану труда с ходатайством о выдаче ему панциря, но получил отказ, так как параграфа о панцирях в колдоговоре не нашли. Тогда на великие доходы от маленьких рецензий он сшил себе толстую шубу на вате и на хорьках и, когда его били, только улыбался.

Писатели, изнуренные борьбой с «Индио», «Б. И.» и «овым», переменили тактику. Малодушные перестали писать, а сильные духом принялись заискивать перед всемогущим «Индио».

Положение Индюкова упрочилось. Его комната была завалена тюками книг с автографами. На некоторых из них он с удовольствием читал печатные посвящения: «Тов. Индюкову – дружелюбиво». И ничто отныне не омрачает его благополучия.

И если высокочтимый товарищ Фанатюк или кто-нибудь из членов комиссии захочет написать роман, пусть лучше этого не делает. Борис Индюков выругает его в трех строках по форме № 1.

Но эта история менее занимательная, чем рассказ о «Золотом Лете».

И товарищ Фанатюк подумал:

«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не услышу рассказа о «Золотом Лете».

Рассказ о «Золотом Лете»

И Шахерезада Федоровна, стараясь оттянуть час своего увольнения, начала новый рассказ.

– Знайте, о члены комиссии по чистке аппарата, что в нашей столице существовали два учреждения: губернское издательство «Водопой» и издательское общество «Золотое Лето».

«Водопой» издавал изящную литературу с налетом социальной грусти и предисловиями чинов Государственной Академии Художественных Наук. Толстенькие водопоевские книжки выходили в переплетах, крытых сатином, который обычно идет на косоворотки и подкладку к демисезонным пальто. Сверх переплета книга была заключена в бумажную обертку. На обороте титульного листа водопоевской книжки всегда красовались важные строки:

ПЕРЕПЛЕТ, СУПЕРОБЛОЖКА И ФОРЗАЦ РАБОТЫ ХУД. Э.
РЫЦАРЕВА.
СУПЕРОБЛОЖКА ОТПЕЧАТАНА НА ГОС. КАРТОЧНОЙ
ФАБРИКЕ.

И действительно, каждая водопоевская книга своей тяжеловесной пышностью напоминала даму трэф. Вообще «Водопой» славился тонкими манерами и даже посылал своим авторам новогодние поздравления!

Что же касается издательского общества «Золотое Лето», то это было издательство совсем другого диапазона. Издавало оно изящную литературу уже не с налетом социальной грусти, а с примесью социального негодования.

Хотя предисловия к золотолетовским книгам принадлежали тем же чинам Академии Худ. Наук, но обложки книг были сделаны не из благородного сатина, а из обыкновенной бумаги, на которой независимо от содержания книги были изображены двутавровые балки и хорошенькие дамские мордочки. Делалось это в интересах распространения.

Авторам своим «Золотое Лето» никаких поздравлений не посылало, но зато часто устраивало писательскую чашку чаю (полбутылки вина на писательскую душу).

Говоря короче, «Водопой» издавал культурные ценности, оставшиеся от царского режима, а «Золотое Лето» печатало сочинения современных авторов, признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции.

Совершенно естественно, что оба издательства враждовали между собой. «Водопой» полагал почему-то, что его грабит «Золотое Лето», захватив в исключительное пользование современных авторов. А «Золотое Лето», в свою очередь, облизывалось на авторов, уцелевших от старого мира.

Междоусобие, все усиливаясь, привело к тому, что главы обоих учреждений непрерывно делали визиты в Центробукву, где интриговали с необыкновенным пылом. Хлопоты «Водопоя» сводились к тому, чтобы подчинить себе «Золотое Лето», а «Лето» стремилось поглотить «Водопой».

И вот однажды Центробуква, правильно рассудив, что два издательства хорошо, а одно еще лучше, постановила слить их вместе, присвоив новому организму название «Златопой». Сделано это было так дипломатично, что ни одна из сторон не могла понять, кто победил и кто будет верховодить «Златопоем».

Золотолетовцы бродили по новому учреждению и гордым своим видом старались показать, что хозяева здесь они. Почтенные же водопоевцы, поблескивая во мгле коридоров лысинами, тоже праздновали победу, считая, что взяла верх их группа.

Самым главным для них была борьба за власть. То же обстоятельство, что у них была теперь одна работа и одна финансовая часть, волновало их меньше всего.

Но здесь Шахрезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.
А когда наступил

Одиннадцатый служебный день,

она сказала:

– И конкуренция, которую Центробуква замыслила искоренить слиянием обоих издательств, разгорелась с новой силой.

Современные авторы, а равно и авторы, перешедшие от царского режима, в начале реформы сильно опечалились.

– Были две кормушки, – визгливо восклицали они, – а стала одна кормушка.

Но время шло, и авторы убедились, что особых изменений не произошло.

– Были две кормушки, – восклицали они еще визгливее, – и остались две кормушки!

И во мгле золотопоевских коридоров продолжались дикие схватки за обладание авторами. Бывшие водопоевцы считали высшей доблестью перехватить автора в вестибюле и подписать с ним договор именно в той комнате, где сидели они, но никак не в комнате, где заседали бывшие золотолетовцы. Ту же тактику применяли золотолетовцы. И таким образом в объединенном издательстве между двумя точками ежедневно проводились две прямые линии, что со времен Эвклида считалось невозможным. И вот все об этих странных людях.

Жил в ту пору в Москве писатель Модест Хамяков, автор двух книг, из коих одна – «Бураны» – была издана в тысяча девятьсот одиннадцатом году, другая же – «Буруны» – в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Придя к заключению, что читатель соскучился и ждет от него третьей книги, Модест Хамяков пришел в «Златопой» позондировать почву.

Уже в вестибюле его остановил благообразный старичок, сразу признавший в Хамякове писателя, уцелевшего от старого мира.

– Модест Львович, – сказал он, – подкинули бы нам полное собрание своих сочинений.

Хамяков согласился подкинуть. Кстати, собрание сочинений оказалось у него в портфеле. Договорившись с бывшими водопоевцами, Модест направился к выходу, но здесь был обнаружен молодым человеком, который сразу узнал в Хамякове автора, признавшего советскую власть на неделю раньше Мексики.

– Здравствуйте, товарищ Хамяков, – сказал молодой человек. – Подкиньте нам свои романы для собрания сочинений.

– А я уже подкинул, – сказал простодушный Модест. – В бывший «Водопой». Для собрания сочинений.

– Здравствуйте! – с горечью закричал молодой человек. – Ведь вы – современный автор и, следовательно, подведомственны бывшему «Лету». Давайте собрание!

Собрание оказалось у простодушного Модеста в портфеле. Книги же, сданные водопоевцам, строгий молодой человек обещал отобрать.

Тихий Модест засел на своей Собачьей площадке за грозовую повесть, ничего не зная о том, что в «Златопое» из-за его собрания началась свалка. Однако молодому человеку не удалось победить благообразного старичка. Но и старичку не удалось одолеть молодого человека.

– Мы, – упрямо бормотал водопойный старик, – уже включили Хамякова в план. Ведь он типичный автор, уцелевший от старого режима.

– А мы не включили? – надсаживался золотолетовский молодец. – Насчет старого мира нам ничего не известно, но зато хорошо известно, что он признал советскую власть еще раньше Мексики. Де-юре и де-факто!

И через два месяца, в рекордный срок, объединенное издательство «Златопой» выпустило в продажу двух Хамяковых. Одно собрание было издано в косовороточных переплетах и карточной суперобложке. Предисловие принадлежало перу академика Худ. Наук и имело налет социальной грусти.

То же самое собрание сочинений появилось одновременно в желтой обложке с изображением балок и мордочек с предисловием того же худ. академика, но уже с примесью социального негодования. И, к удивлению читателей, на обоих собраниях стояла издательская марка «Златопоя».

– Но это ничто, – добавила Шахерезада, – в сравнении с историей о преступлении Якова Трепетова.

И товарищ Фанатюк, возглавлявший комиссию по чистке аппарата, подумал:
«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой истории!»

Преступление Якова

И Шахерезада Федоровна начала новый рассказ.

– Людям свойственно быть недовольными своей профессией.

Был недоволен и Яков Трепетов, испытанный культработник, глава культотдела союза местного транспорта.

Товарищ Трепетов блестяще украшал свой город. Он был честен, умен и работоспособен. Таких людей, как Яков Трепетов, обычно зовут бессребрениками.

– Этот не украдет, – говаривал о нем культработник Умрихин. – Бернардов украдет, даже Бернгардов может украсть! Я украду! Но Трепетов Яшка копейки чужой не тронет.

Но Яков Трепетов тронул чужую копейку.

Это было невероятно, неслыханно, неправдоподобно, но это случилось.

Светлым майским вечером, когда общественность города прогуливалась по бульвару, культработник Яков Трепетов, этот бессребреник, подкрался на глазах у всех к сослуживцу своему Умрихину, залез к нему в карман пиджака, вытащил кошелек и неторопливо стал удаляться.

В конце бульвара его схватил заметивший кражу милиционер. Трепетов не сопротивлялся. Собралась толпа.

– Он пошутил! – кричал подоспевший Умрихин. – Пустите его! Что за глупые шутки, Яков?

– Он пошутил, – поддержала толпа, хорошо знавшая Трепетова.

И милиционер уже приготовился отпустить шутника на свободу, когда Трепетов сказал:

– Я не шутил. Я обокрал этого почтенного гражданина. Я вор. Ведите меня в темницу. Вяжите меня.

Однако никто его не вязал. Тогда Трепетов вспылил.

– Почему, – обратился он к милиционеру, – вы не исполняете возложенных на вас обязанностей?

Милиционер сконфузился и робко заявил, что раз потерпевший не имеет претензий, то вести уличенного в темницу нет надобности.

– Вы не знаете Уголовно-процессуального кодекса! – завизжал Трепетов, обводя притихшую толпу злыми глазами. – А я знаю! Я досконально изучил! Заявление потерпевшего от кражи не обязательно! Если преступление, предусмотренное сто восьмидесятой статьей Уголовного кодекса, совершено, то вы обязаны передать правонарушителя в руки правосудия.

– Что ж, я могу, – неуверенно сказал милиционер, – будьте, граждане, свидетелями.

И он повел Якова Трепетова судиться.

На суде разыгрались драматические сцены. Все свидетели, подтверждая факт кражи кошелька с девятью рублями сорока четырьмя копейками и одним выигрышным билетом кругосветной лотереи стоимостью пятьдесят копеек, в один голос говорили, что это выше их понимания.

Потерпевший в продолжение всего заседания умолял обвиняемого «оставить эти глупые шутки». Но обвиняемый был непоколебим.

– Делайте ваше дело! – заявил он судьям. – Важны не девять рублей сорок четыре копейки, а важен принцип. Я преступил закон и должен понести соответствующую кару.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился.

А когда наступил

Двенадцатый служебный день,

она сказала:

– И суд вынужден был заключить бесребреника на две недели в исправдом.

– А мне больше и не надо! – сказал Трепетов, просяив. – Спасибо, судьи! Вы правильно судили!

Дело в том, что испытаннейший культработник и активный общественник Трепетов считал настоящим своим призванием не организацию библиотек, которую он проводил с большим умением, не оживление кружковой работы и не вовлечение в клуб старичков, а сочинение стихов.

Писал он их по ночам, а утром прятал написанное в сундук и, вздыхая, невыспавшийся и хмурый, шел на работу, повторяя по дороге сочиненные за ночь строфы:

Не верь, родимая, наветам,
Я их не утрашусь! Вотще!
И грудь моя под дулом пистолета
Все, все вздыхает по тебе!
Не верь, родимая, молю – не верь,
Ведь я люблю тебя, как зверь.

На такие вот дела тратил культработник ценные часы своего отдыха. Но часов отдыха становилось все меньше. Расширение сети кружков отнимало у него строфу за строфой. Вовлечение в клуб старичков требовало столько работы, что отпуск пришлось перенести на осень.

А между тем в душе зрела весенняя поэма. Даже название было уже проработано – «Майские грезы». Выявились даже начальные строки:

По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят...

Времени же совершенно не было. Доведенный до крайности потными валами вдохновения, Яков Трепетов решил на кражу.

«В тюрьме мне никто не помешает, – с горькой радостью думал культработник, – там напишу я «Майские грезы».

Две недели показались ему достаточным сроком. И потому он с такой радостью встретил приговор.

В первый же день, с аппетитом пообедав передачей, которую принес в тюрьму безутешный Умрихин, и с отвращением выбросив в парашу найденную в булке записку: «Яша! Брось эти глупости!» – Яков Трепетов засел за поэму.

Под мерные шаги часового и под тихую перебранку соседей хорошо думалось. Потные валы вдохновения окатили узника. Он почувствовал привычный грохот в висках и начал быстро писать:

МАЙСКИЕ ГРЕЗЫ

(Поэма)

По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят...

Но тут дверь камеры с шумом отворилась.

– Трепетов Яков! – закричал надзиратель.

– Есть! – ответил поэт, отрываясь от любимого занятия.

– Идите в клуб. Вы, кажется, культработник? Вас начальник культотдела зовет.

– Зачем? – воскликнул узник.

– Вести культработу. Поставить библиотеку на должную высоту, оживить кружковую работу и вовлечь побольше старичков-рецидивистов!

Со стесненным сердцем побрел Трепетов в клуб. Но там, как старый кавалерийский конь, заслышавши звуки трубы, он принялся прорабатывать, вовлекать и налаживать. И когда он опомнился, срок заключения уже прошел.

Говорят, что поэма «Майские грезы» никогда не была закончена. Ибо, отсидев свой срок, Трепетов нашел культработу запущенной и ему пришлось работать даже по ночам.

– Таким образом, – закончила Шахерезада, – одним плохим поэтом стало меньше! Но эта история ничто в сравнении с рассказом о молодости как таковой.

– Я ничего не знаю об этом, – сказал председатель по чистке товарищ Фанатюк. – Что же это за история?

Хранитель традиций

И Шахрезада Федоровна, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, начала новый рассказ.

– Сейчас, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, я расскажу вам трагическую историю.

Среди нынешней молодежи нетрудно различить юношей двух типов: жоржей и братишек.

Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки «апаш», редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду, летом занимаются пешеходством, а зимой в прохладных аудиториях копят духовные ценности.

Жоржи со старым миром не порвали. Они носят преувеличенно широкие панталоны, зубов не чистят никогда и не в силах забыть о бабушке-фрейлине или о том, что их дедушка был чиновником министерства финансов. По вечерам жоржи предаются танцам, которые составляют их любимое занятие.

Есть еще смешанные фигуры: жоржобратишки и братишкожоржи. Первые совершают медленную эволюцию от тонкого аристократизма жоржей к детской непосредственности братишек. Вторые из лагеря братишек совершают переход к солнечному быту жоржей.

Однако в нашем рассказе участвуют породы чистых кровей: Коля Архипов был типичным братишкой, а вид Гени Черепенникова сразу указывал на то, что Геня чистопородный жорж.

И вот однажды в коридоре электротехникума, где оба они учились, Коля Архипов в присутствии множества студентов ударил Геню Черепенникова по бледному, одухотворенному лицу.

– Вот тебе за политграмоту Бердникова и Светлова! – сказал Коля Архипов после нанесения удара.

Этим он хотел намекнуть Черепенникову, что нехорошо «заматывать» такую полезную книгу.

В коридоре стало тихо. Все ждали обратного удара. Геня Черепенников, в котором закипели самые благородные чувства, двинулся было на обидчика, но, вовремя оценив его атлетическую фигуру, повернулся на полпути и ушел.

Два дня перед ним витала тень дедушки из министерства финансов и взывала о мщении. А на третий день он подошел к братишке Архипову и сказал:

– Вы, конечно, понимаете, что порицание, которое вам вынесло Исполбюро, меня не удовлетворяет. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции.

– Чего? – спросил Коля.

– Дуэли.

– Это можно, – хладнокровно сказал Коля, – мы к дуэли привычные.

– Не паясничайте, Архипов! – воскликнул Черепенников. – Хоть в этот решительный час ведите себя достойно. Я все обдумал. К сожалению, в советских условиях возможна только тайная американская дуэль. Мы тянем жребий. Тот, кто вытянет бумажку с крестом, должен умереть, то есть покончить жизнь самоубийством, предварительно оставив записку: «В смерти моей прошу никого не винить». Способ самоубийства любой. Вас это устраивает?

Колю Архипова это устраивало. Он шаркнул ножкой, обутой в яловочный сапог, и заявил, что давно жаждал американской дуэли.

– Смотрите, – сказал Геня Черепенников, отрезав две бумажки и отмечая одну из них крестом, – дело серьезное. Вы живете последний день.

– Пожалуйста, пожалуйста, – угодливо заметил Архипов, – после того как вы замотали у меня Бердникова, я как-то потерял вкус к жизни!

– Что вы, интересно знать, запоете, когда вытащите роковую бумажку? – со злостью закричал Геня.

Враги потянули жребий.

Геня Черепенников был так уверен в победе, что даже зашатался, когда увидел на своей бумажке крест.

В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день окончился.

А когда наступил

Тринадцатый служебный день,

она продолжала:

– Что же теперь будет? – жалобно спросил он.

– Очень просто, – сказал Архипов, – вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдете домой и, опрыскав одеколоном ТЭЖЭ листок почтовой бумаги, твердым почерком напишете: «В смерти моей прошу никого не винить». А потом – какой широкий выбор! Сколько разнообразия! Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда. Это пошло. Умрите с честью, красиво – под сибирским экспресом, у станции Лосиноостровской.

Геня Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним.

«В смерти моей прошу никого не винить», – написал он на листке почтовой бумаги.

Дедушка одобрительно закивал головой.

Потом Геня Черепенников всхлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую надпись:

«В смерти моей прошу винить Николая Архипова (Токмаков переулок, 20, комн. 271. Застать можно вечером), который подстрекал меня к самоубийству».

Дедушка презрительно усмехнулся, но Гене было все равно.

«Дадут Кольке восемь лет со строгой за подстрекательство, – злорадно подумал он, – воображаю его удивление».

Но умирать все-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка – старорежимный самурай – строгим своим видом показывал, что медлить неудобно и нужно приступать к харакири.

«И чего этот лезет, – подумал Геня Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени, – самого небось каждый день по морде хлестали, и ничего, дожил, дурак, до восьмидесяти лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций!»

Однако смыть оскорбление кровью было необходимо.

Геня Черепенников провел ночь типичного самоубийцы. Он пил кипяченую воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово «Люба» и выкурил два десятка папирос «Ау».

Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмытого оскорбления давила его тысячами тонн.

И Геня Черепенников решил.

Он взял чистый лист бумаги и твердым почерком написал:

«В нарсуд Бауманского района. Настоящим прошу привлечь к ответственности гр. Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели».

Через неделю нарсуд приговорил Архипова к пятнадцати рублям штрафа, что составляло его полуторамесячную стипендию.

Архипов был сконфужен. Черепенников торжествовал.

– А следующая история, – закончила Шахерезада, – будет об удивительном больном – Мисаиле Трикартове.

«Клянусь Госпланом, – подумал товарищ Фанатюк, – я не уволю ее, пока не услышу рассказа о Мисаиле Трикартове!»

Процедуры Трикартова

И Шахерезада Федоровна начала:

– Знайте, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке аппарата, что весною служилым людям овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок, ртутная палочка термометра подымается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше.

Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и по возможности на юге.

Мисаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени.

– Все лечатся, – восклицал он, держась обеими руками за пухлую грудь, – а я должен погибать. Я тоже хочу лечиться!

– Что же с вами? – участливо спрашивали сослуживцы.

– Откуда мне знать! – визжал Мисаил. – Ну колит, ну катар. Порок сердца. Я не доктор, но я чувствую.

И Мисаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров.

Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с тою внимательностью, с какою кошка прислушивается к движениям мыши.

Во время осмотра трусливый Мисаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами.

– Ну что? – выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки.

Он хотел спросить, «есть ли надежда», но губы у него задрожали и насчет надежды не вышло.

– Вы здоровы, – сказал профессор. – Абсолютно.

– У меня порок сердца! – вызывающе сказал Трикартов.

Профессор рассердился.

– А вы знаете, что такое порок сердца?

За визит к профессору Трикартов уплатил семь рублей, и поэтому он тоже рассердился.

– Знаю, – сказал он. – Порок сердца – это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз.

– Вы дурак, – ответил профессор.

Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства. Но государство этого не захотело.

Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой, от знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев.

Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал.

С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали, с одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Мисаил очень страдал от этого.

Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог.

Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

Четырнадцатый служебный день,

она сказала:

– Гуляя по санаторию, он забрел во флигелек в саду. Там посреди комнаты на возвышении сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины.

– А мне почему этого не делают? – спросил Трикартов санитар. – Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов.

– Вас нет в списке, – равнодушно ответил санитар.

Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая и ее нарочно скрывают от него в саду.

Вечером, на террасе, в присутствии больных и гостей, он учинил главврачу большой скандал.

– Дайте мне мои процедуры, – кричал Мисаил Александрович, прыгая. – Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья! Я деньги платил.

– Вы здоровы, – сконфуженно говорил главврач. – Вам не нужны процедуры. Отдыхайте. Старайтесь поменьше волноваться!

Но Трикартов не спал всю ночь и решил лечиться своею собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану.

– Я им покажу, – сказал он, возвращаясь в санаторий. – Я уже чувствую себя лучше.

Днем он бегал по опрятным аллеям, крича:

– Где горное солнце?

Не добившись солнца, Мисаил Александрович забрался в электрический флигелек и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и, отрывиваясь, выпил шестнадцать стаканов газového напитка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.